



ОГОНЁК

№ 25 ИЮНЬ 1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

МО

На Самаре-реке...



Н. БЫКОВ,
М. САВИН.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ОГОНЬКА» РАССКАЗЫВАЮТ О КОМУНИСТАХ ОДНОГО РАЙОНА — О РАБОЧИХ-МЕТАЛЛУРГАХ, О ТРУЖЕНИКАХ ЗЕМЛИ И ФЕРМ.

Леонид Харченко — металлург.

ЛОДОЕ ЛЕТО



...

Могучие, только-только зазеленевшие дубы и деревянный собор-присадец, поставленный еще залоронцами на центральной площади Новомосковска, — немые свидетели веков, пролетевших над землей украинского Присамарья. Намы? Не скажете... Много говорят они уму и сердцу людей, которые отстояли эту свою землю от врагов, распахали былинную степь мек курганами, поставили у ворот своего городка современные заводы. А река Самара все бежит среди дубрав, а в степи поднимается новый хлеб, и уже дети детей красных казаков и революционных солдат делают жизнь на дедовой земле.

Они многое рассказали нам, седые жители Присамарья: первый

в селе кавалер ордена Ленина и делегат I съезда колхозников Дарья Михайловна Тараненко, первый голова колхоза в селе Орловщина, трижды расстрелянный, но и поименно имей Григорий Архипович Чупрына, председатель сельсовета, командир партизан Федосей Елисеевич Титов... Все коммунисты. Все из тех, кто был первым след. За ними — самые верные, самые стойкие, любящие землю под мольным ветром.

Коммунисты... В Губинихе есть памятник. Бюст из гранита на эмпорее, грубой кладки, словно в огне оплавленном постаменте. И ниная надпись. Люди и так знают имя героя — первый партийный секретарь района Архип Санчеренко. Имя это передается отцами детьми — не нужно надписей. Этот человек поднял колхозную целину в Присамарье, остал-

ся с народом в сорок первом. Его выследили, хотели взять, но Архип Санчеренко не дался за дешево живущим. Он оставил последнее пулю себе. И все-таки наратели повесили человека коммуниста — мертвого.

Девчонки танцуют у берега. Много народу в солнечном лесу: колхозники отсылались, рабочие закончили еще одну трудовую неделю. А мы думали о тех, кто крепил славу Присамарья. И старые дубы молча рассказывают о подвиге нашего современника Николая Гордеевича Курузова, бывшего разведчика, ныне трубоэлектросварщика, — это он с товарищами был заброшен в немалый тыл и предостергал взры Днепрогэса. И о Николае Белом, о рабочем металлургического завода, рассказывают свидетели истории: он один из первых на земле прошил на

подводной лодке поло льдами Северного полюса... Имена Марии Куцы и Нины Щербины с третьей фермы колхоза имени Калининна тоже у всех здесь на устах, они первыми надели по 4 тысячи килограммов молока от коровы.

Коммунисты района. Те, кто всегда впереди и на пашне и в це-ху. Как когда-то в подполье и на фронте... Мы рассказываем о буднях Новомосковского района, Днепрпетровской области, о прекрасных людях прекрасной земли, что от века называется Присамарьем.

Но предоставим сначала слово рабочему человеку, коммунисту Леониду Андреевичу Харченко. Он сам расскажет о себе, о своих товарищах, о родном Новомосковске.

МОЛОДОЕ ЛЕТО

РАЗДУМЬЯ ЛЕОНИДА ХАРЧЕНКО,

ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА НОВОМОСКОВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

О ВРЕМЕНИ, О ДРУЗЬЯХ, О СЕБЕ

Только что закончилась ночная смена, на дворе светает, а тут еще собрание. Пришел парторг цеха, поговорили. Глаза слипаются, скорее бы на поезд и домой, но не тут-то было. Парторг попросил — теперь уже только меня — еще задержаться: «С тобой хотят корреспонденты встретиться». Тяжелое утро, но раз надо, значит, надо... И вот, отвечая на просьбу журнала, пишу в «Огонек». Сегодня есть время — выходной. После той недели, когда работал в ночную, это отличный день! Да еще и вечеру подарок от телевидения — футбол из Москвы, встреча со сборной Бельгии... А пока...

Меня попросили рассказать о заводе, о себе, о своих товарищах. Очевидно, есть такая потребность у нашего общества — заглянуть в глаза и душу рабочему человеку. Я и мои товарищи (а их много тысяч только в нашем городе) — мы работаем не от случая до случая, завод — наша жизнь, а не очередная «кампания». И если говорить серьезно, то я привык к тому, что когда у нас в цехе появляются гости, то они интересуются или делают вид, что интересуются, технологичней сварки труб, но редко кто обратит внимание на человека а спецоде, на нашего брата, рабочего. Я изю дня в день читаю и слышу, как берут интервью у звезд кино или спорта, у людей науки. А интервью рабочего обычно тонет в цеховой шумке и в торопливых комментариях журналиста.

Эти мои самые первые мысли не от какой-то обиды, не от чувства превосходства или, напротив, неполноценности, нет, просто я пытаюсь понять: почему вдруг обратились и рабочему нашего завода с такой просьбой, какая нужна сегодня в моем голосе, о чем я могу рассказать и о ком? Какими хотят видеть нашего брата граждане иных социальных групп и какие мы сегодня есть на самом деле? Что главное в моем миропонимании? Что может быть интересного в моей личной и общественной жизни для других?

Вот я говорил сначала о разных интервью и поймал себя на мысли, что и сам читаю в газетах, слушаю по радио или на экране телевизора смотру передачи куда охотнее о людях именно других профессий (о тех же спортсменах, артистах), особенно мне интересно все, что касается спорта и его звезд. В то же время поверхностным, даже далеким от действительности кажется мне многое, повседневная жизнь рабочего человека. Обычно известное изображение наших будней расцвечивается бойким текстом, похлопыванием по плечу. Попытка вырвать рабочего человека из привычного для него мира выглядит не всегда удачно. А надо ли вырывать? Надо ли заставлять играть перед телекамерой чужую роль? Надо ли водить пером, которое в не-то века взял

в руки токарь или крановщик? А если войти в мир моих интересов, моих будней, вместе со мной войти в беспрерывный поток смен, часов отдыха, забот о семье, о самообразовании, совершенствовании производства? От этого круга никуда не уйти.

Помните у Чехова в «Трех сестрах»: «Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет из улицы камин, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге... Боже мой, не то что человеком, лучше быть волком, лучше быть простою лошадию, только бы работать...» Видите, как рассуждает человек, никогда не работавший. Я, который на заводе с семнадцати лет, не могу защищать такую «романтику»: изю дня в день вставать либо чуть свет, либо уходить в грохочущий цех на всю ночь. Мне кажется, и смысл революции, прогресса как раз в том, чтобы человеком быть, а не «волком» и не «простою лошадию». Чехов это еще когда писал, а мне и в наше время приходится слышать о романтике дымящих труб, палаточных городов, бездорожья. Тот, кто впервые побывал у нас в цехе, выходит пьяным от шума, а мы, в нем работающие, вроде бы привыкли. Привыкли? Нет, есть у нас по соседству другой цех, тоже трубный, построенный позднее, там и воздуха больше и оборудование совершеннее, а специалисты думают, как еще и шум в цехах поубавить, думают о создании лучших условий для нас, рабочих. Вот в этих поисках, как облегчить труд человека, и заключается романтика. И мне кажется, надо следовать примеру Чехова: не воспевать труд вообще, абстрактно, невольно выдавая свое нежелание работать физическим, а раскрывать мир интересов, умонастроения трудящегося, выяснять и подчеркивать все, что отличает работающего человека, всячески помочь осознать свое место, свою главенствующую роль в обществе. Знания, автоматика и прочие новинки современного производства должны освободить рабочего от физической тяжести долгих смен, от непроизводительного труда, развить в каждом станочнике личность творческую. Мы на пути и этому, но только на пути, и неразумно кричать о желаемом, как о действительном.

Налеткая доля, да, но и завидная. Это я пишу искренне. Убежден в том, что нет более прекрасной должности (перезабираю М. Горького) на земле! У нас в стране от труда никто не уберегает и все-таки плохо еще воспевают акус и физическому труду. Из словечек опять же все правильно, а на деле? Не всякий устремляется после школы к заводской проходной. Почему? Мне трудно ответить на этот вопрос. Сейчас в моде социология, наверное, она и на этот вопрос найдет

ответ. Но фант остается фантом: в стране освобожденного труда интерес к рабочим профессиям у школьников, например, невелик. Но я обещаю не философствовать, а рассказать о себе и своих товарищах. Так вот, я окончил десятилетку и пошел на завод — на наш, металлургический. По собственному желанию. Мне удавались гуманитарные предметы. Я любил и люблю литературу, хотел и сейчас пробую писать, мне прочили карьеру учителя, во всяком случае, настоятельно советовали поступить в институт. Учителя нашей школы советовали, но... Я рассуждал так: мужчина должен по крайней мере начинать с грубого труда. С завода.

Мне было семнадцать лет, но я уже твердо знал, что должен что-то делать своими руками. Только это принесет мне удовлетворение. И я пошел на завод. Тогда, в 1953 году, это еще не было распространяемым явлением.

Нашел ли я то, что искал: ощущение физической усталости, удовлетворение? Нет. То есть потов-то кашал, но не тогда, не сразу. Меня определили электромонтером. Работа мне не нравилась, да и было ее немного. Вокруг меня работали в основном пожилые люди, как мне тогда казалось, вспомогательный их труд не являлся создательным, хотя безусловно нужным. Было разочарование: гудок — на завод, гудок — с завода... Ну, еще спорт. И так до армии, пока не взяли на службу.

Из армии вернулся посмелее, можно сказать, взрослым человеком. Я и раньше знал, чего хочу — участия в необходимой работе, необходимой всем. Стране, миру! Никто не меньше. И теперь, демобилизовавшись, я твердо попросился в основной цех. Туда, где есть работа рукам и голове. И тут вскоре произошло событие, которое сыграло огромную роль и в жизни нашего завода, и в моей личной жизни, и в развитии отечественной металлургии. Дельцы Западной Германии — это было еще при канцлере К. Аденауэре — отказались поставлять нам трубы большого диаметра. А такие трубы в нашей стране — дефицит. Идет большое строительство! Оснащение городов водопроводом, строительство гигантских газо- и нефтепроводов... Труб нужно много, это все у нас знают. И вот отказ. Умолять? Искать новых поставщиков? Нам, рабочим, сказали, что выбор пал на наш завод: мы отныне будем варить трубы. И началось! Вот это было заданье! По существу, в рекордный срок строился и с ходу вводился совершенно новый завод у меня, у всех у нас, жителей тихого пригородного городка, на глазах! Мы строили, и мы же готовились овладеть новыми профессиями. Меня послали на Урал, в Челябинск. Учиться. Понадобилось всего де-

вять месяцев, чтобы завод выдал первую трубу. Первая — она сейчас на постаменте у входа в наш цех, первая, сваренная почти вручную, некрасивая, но первая, настоящая. Наша. В начале 1962 года рабочие завода написали на трубе ответ дельцам из Западной Германии: «Вылетный в трубу, Аденауэр». Весь мир говорил о чуде: русские в рекордно короткий срок наладили производство труб большого диаметра.

Сегодня, вспоминая пережитое, я испытываю необыкновенное чувство гордости и за страну, и за свой Новомосковск, и за своих товарищей. Это чувство родилось в труде — осмысленном, общественно полезном! А все это очень важно для рабочего человека — сознание того, что в твоей продукции нуждаются все. Да, мы делаем трубы, но мы делаем и политику! И тут уже самые тяжелые смены не а тягость, каждый понимает, что он участник внешнеполитической акции государства, что лично он помогает своему государству продвигаться вперед. Мне кажется, что это наиболее стимулирующее ощущение. Ты нужен! Без этого ощущения не может быть чистой, радостной жизни. Оно питает и чувство собственного достоинства!

И тут я хочу поделиться мыслями о месте рабочего человека в обществе. Социалистическую революцию под руководством В. И. Ленина осуществил рабочий класс. Прошло полвека. Мне кажется, что вся наша эволюция сейчас перестраивается в интересах дальнейшего развития производительных сил, создания материальной базы такого общества, которого никогда не было на земле. И это очень важный этап в истории государства. После XX, XXII и XXIII съездов КПСС программа дальнейшего развития ленинских принципов социалистической демократии предполагает совершенно новое отношение между личностью и государством, между мною и теми, кто определяет маршрут вперед. Вот взять у В. И. Ленина, он еще на заре Советской власти говорил, что вопрос состоит в том, чтобы сознательный рабочий чувствовал себя не только хозяином на своем заводе, а представителем страны, чтобы он чувствовал на себе ответственность. Это чувство ответственности за все, что в стране происходит, — самое главное, что надо развивать в каждом рабочем. Иначе как же осуществить эволюционную реформу, как сделать, чтобы хозяйственная самостоятельность завода стала нормой жизни производственного коллектива? Нет, рабочий не должен между делом, в каждодневных заботах о плане забывать о своей личной ответственности за судьбу государства.

Почему я это пишу? Да потому, что, мне кажется, не надо идеализировать нашего брата. Еще



Комсомольцы 1-го цеха.

встречаясь в своей среде и ограниченность в понимании личных интересов, равнодушие к политическим событиям в стране и в мире, иной рабочий лишь формально помнит об обязанностях перед обществом, а о своих правах даже забыл, но если человек не знает своих гражданских прав, то какой же он гражданин, как он сможет участвовать в общественной жизни страны? Я убежден, что социалистическому государству политическим и экономическим невыгодно иметь дело с пассивной массой трудящихся. Это очень серьезная проблема — развитие гражданской активности каждого. Современный рабочий отличается прежде всего тем, что ему до всего есть дело.

Что значит тип современного рабочего? Я немало и прежде думал об этом. Наш труд все более сходен с трудом интеллигентным. Да, да, не удивляйтесь этому! На таких заводах, где царствует полуавтоматизм, где некоторые цехи настолько безлюдны, что фотокорреспонденту и снимать нечего, вернее, почти нечего, где я, рабочий, с пульта управления слежу за работой огромного электросварочного стана, на таких заводах рабочий — человек творческого труда. Я и мои товарищи по цеху затрачивают все меньше физических сил и все больше сил умственных. У меня девятый разряд. Скоро будет и диплом специалиста, технолога. И все-таки вовсе не высокий разряд и не диплом определяют тип современного рабочего. А что же? Потребность жить не только интересами узкопрофессиональными, потребность в осмыслении всего, что происходит в мире и в жизни общества, — вот что выводит просто хорошего, добросовестного рабочего на орбиту интересов общегосударственных.

Я не люблю слова «работяга». Да, есть работяги и рабочие. И не надо умиляться тому, что парень — работяга. Надо помочь ему найти себя, преодолеть себя, свою гражданскую пассивность, инертность, расширить его кругозор. То есть позаботиться о том, о чем и говорил я в начале своих заметок, вспоминая В. И. Ленина, — о личной ответственности за страну (быть «представителем страны»). Возьмите революционера Бабушкина, он работал совсем рядом, на заводе в Днепропетровске, и был уже тогда рабочим, а не работягой. Он только потому стал ленинцем, что был лично заинтересован в изменениях политического строя, социальной атмосферы в России. Да мало ли таких примеров в истории пролетарской революции! А ведь мы же Иваны, не помнящие родства, мы продолжали, недаром государство позаботилось о нашем образовании. Время отдачи наступило — для этого особенно подходящая атмосфера экономической реформы.

В связи с реформой нельзя не сказать о творческом начале в труде. Только творческий, осознанный труд дает удовлетво-

ние — это я по себе знаю. И рядом со мной подобные примеры. Сварщика узнают по шагу. Мы, трубоэлектросварщики, на каждой трубе ставим личное клеймо. Авторство! Оно лестно, и оно тоже делает наш труд в какой-то степени схожим с трудом интеллигента. Но авторство не многому обязывает! Бывает, что контролер ОТК, не глядя на клеймо, уже знает, кто варил трубу. По шагу. Это приятно, когда твоя работа отличная, но как же нехорошо себя чувствует тот, кого узнали по отвратительному шагу... Казалось бы, невелика проблема. Нет, тут важен принцип. Отличный шаг — это и зарплата, и премия, и уважение товарищей. И еще приближение к тому совершенству, к тому уровню мирового стандарта, к которому стремился все мы. А это уже честь Родины. Видите, как все связано: гражданская активность, квалификация, место среди товарищей и честь Родины на мировой арене! Тип современного рабочего всем этим требованиям — и профессиональным, и нравственным, и политическим — должен отвечать. Есть у нас ремонтная площадка, там труд адский — арочную линандируется брак и браком трубоэлектросварщиков. Я считаю своим товарищеским долгом работать так, чтобы не давать работу нашим ремонтникам. А ведь у нас десять электросварочных станков в пролете, средства производства и инструменты на пуле управления одинаковые. А швы разные. И тут многое зависит не только от тебя, но и от того, кто рядом с тобой. Если подручный хорошо знает дело, то и ты сам хорош. При оценке труда рабочего ведущей профессии нельзя не учитывать незаметную, но нередко решающую роль подручного. Он и ты экипаж! И успех всегда там, где дружба и спайка. Со мною за семь лет работали всего два подручных. Я делал все, чтобы мы поняли друг друга — от этого выиграло производство, завод! Первый подручный — Анатолий Корни — стал электросварщиком. Сейчас я работаю со Славой Каминским. Мы с ним смеялись, от него — половина моего успеха, недаром в цехе говорят: «У Харченко подручный хороший!» Но так и должно быть. Слава наравне со мной переживает, мы с ним не делим ответственности за трубу, а ведь он физически больше меня работает, а зарабатывает меньше — подручный!

Я очень хочу, чтобы и Слава учился. Он пока не слушает советов и весь отдается после работы своей лодке. У нас такая раба — Самара — замечательная, много личных моторных лодок. А места такие, что можно иной раз и проучение забыть! Я понимаю Славу, и все-таки... Вот я грызу науку, электротехнику, математику, механику, черчение... Зачем? Очень тяжело было сначала... И все-таки знаю: прав был, когда поступал в техникум. Это надо для меня, для рабочего. Я даже не против того,

чтобы выматываться физически — без этого, может быть, пока и нельзя, если работать по-настоящему, с полной отдачей всех сил. Дорога творческая обстановка. Как-то пришел старший мастер, отличный человек Александр Никитович Безуглый (он своими руками переделывал все сварочные станки) и показывает чертеж, предлагает мне же облегчить мой труд. А я смотрю, делаю вид, что понимаю суть предложения, — и ничего не вижу. Теперь иное дело — я уже не слепа, как когда-то. Пример, может быть, и примитивный, но в нем год моей жизни, определенный сдвиг и в сознании и в мастерстве.

Мне кажется, тут прямая связь между творческим трудом и нравственным обликом рабочего человека. Иначе как же мы, представители современного рабочего класса, сможем претендовать на непосредственное участие в обсуждении и решении важнейших производственных и социальных проблем? Просто руки дружки поднимаем при голосовании! Думаю, что и это надо делать осмысленно. Есть среди нас такие, что просматривают только последнюю страницу газет. Но я беру пример у тех, кто посерьезнее, чей голос весом в жизни завода. Вот один из них — смеющийся мастер Иван Яковлевич Крицун, мы с ним всегда общий язык находим. Живой, темпераментный Василий Качалый — тоже сварщик, живет интересами цеха. А вот Евгений Носенко — сварщик наружного шва, от него труба идет не мне. Человек во всем положительный, в войну был разведчиком, люблю я его, хотя во время смены часто досаждал на Евгения. Он слишком нетороплив, основателен во всех своих действиях. Я спешу — норма, у меня и психическая конституция иная, а тут Носенко работает, как ювелир. Но ведь время, время! Счет идет на секунды... Досаду и все-таки всегда помню, что мой друг Евгений Носенко — настоящий рабочий человек, для которого важна труба, шов, качество.

Да, планы у нас год от года повышаются, но это научно обоснованный рост. Совершенствуются

технологические линии, электросварочные станы. Растет и наше индивидуальное мастерство. Мы повышаем темп, не снижая качества. Ведь каждая труба, ее шов испытываются, а документы испытаний хранятся много лет. Если где-нибудь разорвет газ- или нефтепровод, то вину, личную ответственность браконьера установят быстро... Там что сами понимаете меру ответственности рабочего человека. Плохо, что не все еще помнит об этом, не для всех их рабочая честь превыше всего. Вот почему я думаю, что связь между мастерством, творческим отношением к делу и нравственным обликом человека самая прямая. Надо всемерно заботиться о грамотности, о профессиональной культуре, тогда возрастет и гражданская активность рабочего. Бывает, примут распределение, выплатят премию — и все, считают, что этого мне достаточно. Нет, теперь недостаточно, мне и моим товарищам мое предложение дает нечто большее, чем рубль, оно мне дороже, как факт личного участия в улучшении технологии, в достижении плана. Конечно, это не интересует работника, а настоящего рабочего интересует, а этим он находит удовлетворения. И тут я хочу сказать: мы влились в собственное дело, не знаем, что и как делается на родственных предприятиях. Колхозники то и дело ездят друг к другу, обмениваются опытом. А мы? Ни разу нигде не были, не видели, как же налажено дело на других трубных заводах.

И еще: реформа должна крепче связывать поставщиков и потребителей. Мы делаем все для того, чтобы перевыполнить пятилетку. Но нас лимитирует металл. Помню, нужен запас его (у нас в цехе № 1 он имеется), но как в цехе № 2 создать такой же запас, если поставщики работают рынками, отгружают нам металл только в последние дни месяца? За это их штрафуют. Но штрафы нам не нужны, дайте сырье для труб! Бывают из-за этой неувязки и простои, бывает, шлет завод рабочего и министр: почему нет металла? Но разве это метод, разве министр пронатыкает металл? Тут что-то не так...

Да, конечно, интересы производства высвистают почти все. Работа и техникум — вот чем я живу. Хотелось бы больше читать. Театр? Вроде и близко (до Днепропетровска всего 38 километров), но бываю в нем редко. Природа? Прекрасная вещь, но что за интерес мужчинам ехать куда-то одним, без своих подруг и жен, без детей, а поехать вместе в присамарские леса нам редко удается: все мы в разных сменах, и выходные дни, как правило, у членов семьи не совпадают. Я пишу об этом еще и потому, что проблема отдыха весьма актуальна. Не кто иной, как Марис, считал, что свободное время при коммунизме будет главным богатством общества. Как хлеб, как тот же металл, как книги — главное богатство! Там что наукою воспевают тяжелый труд от и до... Наоборот, мы должны все делать, чтобы высветить дни, ночи — целые годы, которые рабочий проводит в грохочущем цехе. И тут слово за социологами, архитекторами, конструкторами. И за нами, рабочими. Мы все вместе должны добиться для нашего общества это главное, по Марису, богатство — свободное время! Нет, это не парадокс, что главная мечта рабочего — о свободном времени. Я мечтаю о нем лишь потому, что обладаю правом на свободный труд! Вот, собственно, и все на эту тему. Маяковский писал: «Я сам рассказываю о времени и о себе». Это очень нелегко — о времени и о себе. Но хотелось бы хоть немного сказать о себе и о товарищах — самому.

ОГОНЕК

Основан
1 апреля 1923 года

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 25 (2138)

15 ИЮНЯ 1968



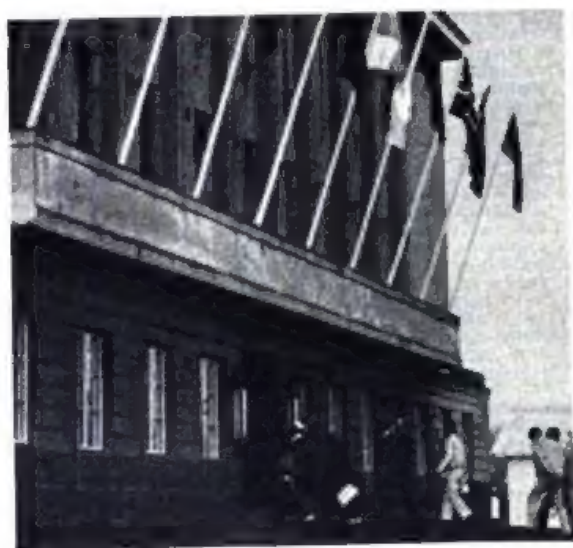
Цветы на мемориальной доске у дома, где жил В. И. Ленин (г. Турку).

А. СОФРОНОВ
Фото автора.

ПАРОМ



На одной из площадей города Турку.



Город Марнехамн. Делегаты идут на конференцию.



Посадка на паром после Дней мира на Аландах.

Если ты однажды побывал в чужой стране и она не оставила тебя равнодушным, значит, в этой стране, в людях, которых ты узнал, есть что-то такое, что вызвало твой интерес... А если ты бывал в этой стране не один, а много раз, запомнил не только ее города, но и улицы, в главном, хорошо узнал многих людей, уклад их жизни, их тревоги и радости, то, совершенно естественно, тебя всегда будет снова и снова тянуть в эту страну. Если же случился значительный перерыв в твоих встречах, тем острее будут впечатления от новой встречи. Что нового? Куда пошла страна? Как тебя встретят и как ты сам относишься к твоим старым знакомым?

После длительного перерыва я снова побывал в Финляндии. И не просто в Финляндии, а на Аландских островах, расположенных в Балтийском море. Много раз собирался во время прошлых посещений Финляндии побывать на Аландах — и все как-то не получалось. А теперь в главном городе Аландских островов, из столицы, в Марнехамне, состоялся День мира, в которых приняли участие общественные деятели Финляндии, Дании, ГДР, ФРГ, Польши, Норвегии, Советского Союза и Швеции.

К Аландам два пути — морем и воздухом. Около 600 участников Дней мира отправлялись в Марнехамн морем, большим старым паромом. Кажется, не так уж много времени — шесть часов плавания, но все же паром, чем-то напоминающий Ноев ковчег, давал возможность присмотреться к посетителям.

Три палубы парома достаточно тесны для такого количества людей. Кто сумел, тот занял удобные места на нижней палубе, где было потише, не так ветрено. У меня болело горло, начиналась ангина, я отсоединился от нашей делегации и пристроился на нижней, непродуваемой палубе, среди пожилых финнов, людей простых, доброжелательных и веселых. Дни мира для них и дни отдыха. То ли меня узнали жители старого финского города Турку, в котором я много раз бывал в прошлые годы, то ли по закону гостеприимства мне уступили в уголке на палубе место, поощрительно улыбались, время от времени угощали кофе и шоколадом и разговаривали со мной, немало не смущаясь тем, что я не мог отвечать на финском языке. Но это не имело значения ни для них, ни для меня. Моим спутникам, видимо, важно было сказать, что они считали необходимым, а мне в ответ приветливо улыбаться, давая понять, что языка я не знаю. Но все было превосходно. Рядом со мной старик в очках в простой одежде

играл на баяне. Пожилые полные женщины кружились в вальсе. Напротив за столиком веселая компания интенсивно меняла бутылки пива, изредка дополняя их маленькими порциями бренди. Все шло своим чередом.

Мимо мелькали большие и маленькие каменистые, щедро поросшие лесом острова. За паромом тянулись в ожидании добычи крикливые чайки. С каждым часом на парома становилось все более шумно. В полную нагрузку работали юнски. Мне все же надоело сидеть, оберегая свое горло от ветра. Бросив на скамейку плащ, я пошел побродить по палубам. Шумный разговор перекатывался от скамейки к скамейке. Бродя по парома, я все чаще встречал группы молодежи. Внешне они выглядели несколько необычно для финских юношей и девушек, во всяком случае, тех юношей и девушек, которых я запомнил по старым своим поездкам в Финляндию. Это были, не все, конечно, по внешнему облику типичные «хиппи» — длинноволосые, с бледными лицами, бездумно блуждающими глазами. Большинство из них сидели на корме, цедили в стаканчики бренди, плохо скоординированными движениями макали руками и нещадно курили... И девочки-подростки и их партнеры-юноши. Нам всегда бывает горько, когда мы видим полудетей с сигаретами между тонкими девичьими пальцами...

На палубе, где стояли поднятые на паром автобусы и автомашинки, я увидел двух девушек: одну побольше, другую — маленькую, голубоглазую. Обе они курили, о чем-то беседуя, небрежно стряхивая пепел. Мимо них шли люди, останавливались, смотрели на них... А они продолжали беседовать, ни на кого не обращая внимания, рассеянно сбрасывая пепел, — две девочки в коротких потрепанных джинсах...

Убедившись, что верхняя палуба из-за сильного, холодного ветра мне противопоказана, я вернулся на старое место, туда, где продолжал весело звучать баян, вздрагивая в грубых руках пожилого человека, добродушно смотрящего поверх очков на кружащихся в вальсе немолодых полных женщин. Здесь не было уныния. Женщины не курили. Мужчины вели какой-то бесконечный разговор, громко хохотали и дружески подмигивали мне.

Здесь было тепло и даже душно. Я слушал несложную мелодию баяна, смотрел на очень просто, обычно одетых женщин и невольно сравнивал эти, казалось бы, не-соприкасающиеся две категории пассажиров парома — людей зрелых, в возрасте, и совсем молодых, печальных девушек и не очень опрятных парней.

НА АЛАНДЫ



В день нашего приезда в Хельсинки наш посол Андрей Ефимович Ковалев показал советской делегации недавно выпущенный финский фильм «Лапуевская свадьба». Перед сеансом он сказал: «Посмотрите, мне кажется, вам будет интересно. Этот фильм получил в прошлом году одну из национальных премий». Фильм действительно оказался интересным. В нем показывались судьбы студенческой молодежи, пылливо ищущей дорогу в жизни. Без особого смакования всяческих натуралистических сексуальных подробностей, являющихся обязательной принадлежностью современного буржуазного коммерческого кинематографа, фильм вел своих героев через большие и малые жизненные барьеры, вел с любовью к героям, словно бы заботясь не только о самих героях фильма, но и о тех, кому доведется этот фильм смотреть. Нельзя сказать, чтобы фильм был ладно скроен, но в нем, словно пульсирующая жилка, пробивался неунывающий внутренний оптимизм времени, времени сложного, отягощенного думами и заботами не только о настоящем, но и о будущем.

Сидя на палубе парома и наблюдая за тем, что происходило перед моими глазами, я невольно вспоминал эту кинокартину, ибо здесь происходило нечто похожее.

Совсем близко замелькали очертания Марнехамна. Стоящие у причала корабли. Одинокие белые паруса. Автомашин на пристани. Паром причалил к берегу.

В тот же вечер в большом спортивном зале города состоялся вечер дружбы, на котором с короткими приветственными словами выступали руководители делегаций. Но, пожалуй, главным на этом вечере были все же не речи, а художественная часть.

Мы с удовольствием смотрели народные танцы Аландских островов. Слушали небольшой самодельный симфонический оркестр. Участники вечера тепло приняли советских артистов... Это как бы был концерт... И в то же самое время не концерт. После выступления представляла делегацию ГДР на сцену вышли две девочки и два мальчика с гитарами. Они спели всего одну песню. Содержание ее нам перевели. Что-то знакомое слышалось в мелодии. Да, конечно же, строй песни напоминал знаменитые революционные песни Эрнста Буша. Вот короткие мысли этой песни: «Скажи, с кем ты? Скажи, где ты стоишь? Давайте называть вещи своими именами... Не надо скрываться под маской, скажи, с кем ты!»

Четыре жестких молодых голоса звучали под сводами большого спортивного зала. И все затихло... И долго аплодировали, когда сце-

ну покинули тоненькие девочки и юности с обычными гитарами.

Но это было не все. На сцену вышла группа юношей и девушек в красных косынках. Это были пионеры из города Турку. И в первом ряду среди них я увидел ту самую голубоглазую печальную девочку, что равнодушно страдала пепел сигареты на палубе парома. Пионеры запели на финском языке хорошо знакомую нам песню «Хотят ли русские войны». Но они отрадактировали эту песню. Строки «хотят ли русские войны» в их песне не было. Строка была исправлена. Финские юноши и девушки спрашивали: «Хотят ли люди войны? Все люди на земле?»

А затем они исполняли собственную песню о Вьетнаме... И эта песня, необычная по форме — речитатив сменялся пением, — снова захватила зал, соединилась с песней немецкой молодежи «Скажи, с кем ты?».

А я слушал и думал о том, как непохожа была эта голубоглазая девушка, стоящая среди своих друзей на сцене спортивного зала в Марнехамне, на ту, что стояла возле плывущих на пароме автобусов и автомашин... Но это была одна и та же голубоглазая девушка в коротких поношенных джинсах.

Уже поздно, вернувшись с Аландских островов, в городе Турку, где мы провели целый день, возложили алые гвоздики на мемориальную доску, возле дома, в котором когда-то жил Владимир Ильич Ленин, вечером мы снова встретились с этим впечатляющим маленьким ансамблем финских пионеров; на этот раз, кроме уже слышанных нами песен, спетых на финском языке, звучали еще и «Подмосковные вечера» В. Сопольева-Садого и «Одинокая гармонь» Бориса Мокроусова.

Так, с самого начала, едва паром причалил к Марнехамну, мы были включены детскими голосами в атмосферу этой знаменательной встречи на Аландских островах, встречи, на которой делегаты одновременно состоявшейся здесь конференции обсуждали жизненные проблемы, волнующие большинство европейцев, и принимали важные решения по вопросам европейской безопасности и нераспространения ядерного оружия.

Не случайно было горячо принято выступление главы советской делегации, заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР А. А. Мюрисева, изложившего ясную и твердую позицию Советского Союза в вопросах европейской безопасности и, как один из пунктов в этом вопросе, неизбежность ныне существующих границ в Европе.

Много места в выступлениях делегатов было уделено обсуждению попыток Бонны заполучить атомное оружие.

Делегат, представляющий миролюбивые силы ФРГ, говорил о том, что трудящиеся Западной Германии выступают против принятия бундестагом вопреки сопротивлению трудящихся чрезвычайных законов, являющихся прямой угрозой миру.

— ФРГ сейчас вызывает наряду с США чувство ненависти, так как принятие этих законов является угрозой не только тем, кто живет в Западной Германии, но и для всех народов Европы, — с горечью говорил представитель сторонников мира ФРГ.

Министр промышленности Финляндии В. Ласкинен в своем вступительном докладе высказался за признание обеих германских государств — ГДР и ФРГ.

Недолго, всего двое суток, продолжались Дни мира на Аландских островах. Гостеприимные хозяева сделали все, чтобы участники конференции, впервые астранившиеся в Марнехамне, как следует поработали на благо мира и одновременно отдохнули, полюбовались действительно изумительно красивой природой Аландских островов.

И снова причалил к гавани Марнехамна паром. Делегаты возвращались домой. На этот раз паром был новый, недавно построенный в Югославии... Снова царил веселье на палубах парома. Звучал оркестр. Молодые и старые отплясывали латку-анку. Только

Там называемые маонисты.



среди всех этих людей странно было видеть группу обросших, грязных типов неопределенного возраста, сидящих на задней корме под тряпкой, привязанной к палке. Эти натрезвые люди называли себя маонистами. Они пытались дарить значки с изображением Мао. Пьяными голосами выкрикивали его имя... А потом, когда кончились алкогольные запасы, пошли по палубам с призывом сделать взносы в пользу Вьетнама. Люди охотно давали им по одной-две марки. Собрав необходимую сумму, поклонники Мао немедленно отправились в юбки и на все давняя купили виски и бренди и продолжали пиршество.

Паром подошел к гавани. Шатаясь из стороны в сторону, поклонники Мао поплелись к берегу и там, обессиленные, завалились на асфальт... Пассажиры парома проходили мимо них, брезгливо оглядываясь.

Рассказ о поездке на Аландские острова был бы неполным, если бы я не упомянул группу советских актеров, принявших участие в Днях мира на Аландских островах. Везде — на Аландах, в Турку и в Хельсинки — проходил, по существу, маленький фестиваль искусства советских прибалтийских республик, пославших на Аланды своих талантливых представителей. Финны сердечно приветствовали исполнителей на народных литовских инструментах Дануте Юодвалкитте, Будрюса Пранцискуса и солиста Государственного литовского театра оперы и балета Ваулаваса Даунораса; народного артиста Латвийской республики Питера Гравела и композитора Эдгара Иганберга, прекрасных танцоров из Риги Ренату Шавейс и Дайлону Рудовица, популярного певца из Эстонии Калмара Тенкосаара, а также молодую талантливую исполнительницу русских песен, солистку Москонцерта Екатерину Шаврину.

Сердечно принимали зрители молодой самодеятельный коллектив «Гамма-джаз» ленинградского завода «Вибратор», руководимого инженером Александром Петровым.

Дни мира на Аландских островах удались. Они останутся в памяти тех, кто участвовал в них, они останутся в памяти тех, кто будет горячо поддерживать решения, принятые сторонниками мира в Марнехамне, столице Аландских островов. Их запомнят девушки и юноши, которые впервые со своими песнями обратились к делегатам восьми прибалтийских стран; запомнит и голубоглазая девочка из старого финского города Турку, много веков стоящего на берегу Балтийского моря.

гор. Марнехамн.
Июнь 1968 года.

У ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ ГАГАРИНОЙ

Алексей ГОЛИКОВ

Фото автора.

Этот репортаж я пишу шариковой ручкой первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Я ездила в Звездный город и Валентина Ивановна Гагарина, чтобы передать письма, пришедшие в «Огонек» и адресованные ей, и последние фотографии Юрия Алексеевича, которые мы сделали с фотокорреспондентом «Огонька» Дмитрием Ухтомским за три дня до катастрофы.

Как и в тот приезд, два с лишним месяца назад, дверь открыла старшая дочка космонавта, Лена. Прохожу в комнаты. Кажется, все здесь по-прежнему, все на своих местах. Только Валентина Ивановна изменилась, в уголках рта залегли горькие морщинки.

— Сначала покажите фотографии, — просит она.

Смотрит на них, тяжело вздыхает, бледнеет. Леночка силоньется и плечу матери.

— Вот наш папа! А вот я даю ему воды попить. А здесь он с ружьем, помнишь, ты подарила?

На глазах Валентины Ивановны слезы.

— Да, это ружье я подарила в день рождения — 9 марта. Мужу давно хотелось иметь тульский дробовик. Доволен был очень, прыгал, как мальчик. А выстрелить из этого ружья так ни разу и не пришлось.

Я говорю, что привез все фотографии, в том числе и не совсем удачные.

— И очень хорошо, — отвечает она. — Мне теперь любая его фотография бесценно дорога, а особенно самые последние... Нет... И перья тонка. Вот посмотрите, какими был Юра в год нашего знакомства.

Со старой фотографии улыбается стриженный курсант в авиационных погонах, с парашютным значком на гимнастерке.

— Я родилась и выросла в Оренбурге, — говорит Валентина Ивановна. — И первый раз встретила с Юрой там, в авиационном училище, на вечере танцев. Помню, подходит ко мне стриженный курсант, а мы их лысенкизм звали, и приглашает на вальс, а сам улыбается. Мы же знаем, как он улыбался. Потом стали с ним встречаться каждый выходной день. В первый отпуск Юра уехал в родной Гжатск. Дома его в военной форме еще не ви-

дели. И вдруг приходит ко мне домой, вернулся раньше времени...

Валентина Ивановна сидит за столом как раз на том месте, где сидел Юрий Алексеевич, когда мы беседовали с ним 24 марта. В тот день он привез жену из больницы домой на восприимчивые. Я спрашиваю, что было потом, как прошли те три последних дня.

— В восприимчивые вечером Юра отвез меня обратно в больницу: у меня жва жалудна. А в понедельник снова приехал навестить. Сказал, что во вторник не выберется, занят будет с утра до ночи. Во вторник я его и не ждала, это 26 марта. Утром, после врачебного обхода и лечебных процедур, пошла с соседней по палате погулять. Мы вышли на больничный двор, сидим на скамеечке, разговариваем. Вдруг въезжает машина, смотрю, из нее выходит Юра. Я удивилась. Оказывается, он был где-то неподалеку по делам, вот и заехал. Сказал, чтоб завтра не ждала, не волновалась. Завтра весь день занят. Рассказал, что дома делается, как девочки. А сам на часы смотрит: «У меня через час предполетная подготовка, завтра утром латаю». Посидели немного, поговорили, и он ушел. Не знала, что в последний раз его вижу.

Когда Юра летал, я, как и все, видимо, жмни летчиков, всегда немножко волновалась за него. Так и 27 марта с утра на душе было неспокойно. С нетерпением дождалась вечера и позвонила домой. Это часов в восемь. Думаю, может быть, вернулся. Но телефон оказался занят. Я позвонила снова, опять занят. И так часа полтора. Не выдержала и позвонила соседям, просила узнать, что у нас дома и почему занят телефон. Мне ответили, что дома все хорошо, а телефон в нашей квартире не работает. На другой день я с утра стала звонить домой, но телефон все еще был не исправен. А потом ко мне вдруг приехали Бая Терешкова, Андрия Николаев и Павел Попович. Увидела их, так сердце и сжалось. «Что-нибудь случилось?» — спрашиваю. «Да, — отвечают, — вчера утром, 27 марта...»

Валентина Ивановна прерывает рассказ... — Вот посмотрите, чем он в тот день должен был заниматься.

На настольном календаре — 27 марта 1968 года, среда. Ниже рукой Гагарина столби-

ком написано: «1) 10.00 — тренировочные полеты, 2) 17.00 — редакция журнала «Огонек», «Круглый стол», надо выступить, 3) 19.30 — встреча с иностранными делегациями. ЦМ ВЛКСМ».

— Юра так расписывал каждый свой день, — говорит Валентина Ивановна, — времени ему всегда не хватало, всегда было в обрез.

Она берет привезенные мной письма, читает одно из них. Письмо коллективное, от женщин — работниц игольного цеха механического завода имени Калининна в городе Подольске. Они пишут, что по-женски разделяют ее горе, глубоко ей сочувствуют, говорят, что тоже плакали, когда услышали о гибели Юрия Гагарина. Просят сообщить, как здоровье Валентины Ивановны, как она живет.

Собственно, об этом спрашивают в сотнях писем, которые получает редакция.

— Сначала о моем здоровье, — говорит Валентина Ивановна. — Сейчас стало лучше. Вот видите, выписалась из больницы, вернулась домой. Где буду жить? Решила остаться здесь, в Звездном городе. С одной стороны, конечно, тяжело, уж очень мне все напоминает. Даже вот сейчас пришел журналист, и кажется, вот-вот из своего кабинета выйдет Юра и начнет давать. Собственно, уезжать не хочу из-за детей, хорошо им здесь. Школа у нас отличная. А у меня старшая, ей 9 лет, в 3-м классе учится, а младшая, ей 7 лет, пойдет нынче в первый класс. Место здесь красивое, здоровое, ребятишкам гулять и бегать безопасно: ни машин, никакого уличного движения. За них я могу быть спокойна. И друзья рядом. В такую минуту это очень важно.

Валентина Ивановна просит через журнал «Огонек» передать ее глубокую благодарность всем, кто в этот тяжелый час обратился к ней со словами участия и утешения. Беспечноется за ее здоровье, за ее судьбу.

Мы прощаемся. Валентина Ивановна берет с письменного стола черную шариковую ручку с надписью «50 лет Октября».

— Возьмите на память о Юрии Алексеевиче, — говорит она. — Эта ручка всегда лежала возле настольного календаря. Его он расписал по часам последний день своей жизни.

НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ ИЗРАИЛЬСКИХ АГРЕССОРОВ

Демонстрация протеста в Аммане против последних провокаций Израиля.



Израильские агрессоры, поддерживаемые империалистическими кругами, не прекращают провокаций против арабских стран. 4 июня израильская артиллерия подвергла обстрелу иорданскую территорию. Самолеты Израиля совершили налеты на Иорданию. Сильно пострадал город Иордан. По просьбе журнала «Огонек» посол Иордании в СССР г-н Абдулла Зурейкат ответил на вопросы корреспондента журнала А. Сербина.

— Какова реакция в Иордании на новые провокации израильских агрессоров?

— Начиная агрессивную войну, Израиль хотел поставить арабов на колени, принудить арабские государства согласиться с израильскими притязаниями, сломить режимы в ОАР, Сирии и других арабских странах. Но агрессоры не смогли добиться своих политических целей. Сейчас они снова пытаются достичь их. Они сосредоточивают силы против Иордании, считая ее слабым звеном в арабском мире, рассчитывая навязать ей сепаратные свои условия. Но правительство и народ Иордании знают, чем это грозит, готовы отразить агрессию и никогда не сдадутся агрессорам на милость. Народ и армия нашей страны готовы сражаться до последнего человека.

— Какова роль арабского единства в современной обстановке?

— Значение единства арабских стран трудно переоценить. Арабская солидарность в настоящее время проявляет себя сильнее, чем раньше. Она находит свое отражение в том, например, что на нашей территории сейчас присутствуют войска Саудовской Аравии и Ирана, которые готовы сражаться против агрессии. Сирия готова сотрудничать в военной сфере и других областях. Иордания поддерживает контакты с другими арабскими странами.

— Как оценивается в арабском мире советская политика на Ближнем Востоке?

— События на Ближнем Востоке доказали, что Советский Союз — первый и самый искренний друг арабов. Арабы никогда не забудут той большой роли, которая принадлежит Советскому Союзу в помощи арабским странам. Эта помощь и поддержка были оказаны им и до и после израильской агрессии. Если бы не она, то даже трудно представить себе катастрофические последствия агрессии. Арабы благодарны Советской стране за поддержку, оказанную им в политической сфере, в Организации Объединенных Наций. У нас, как и у вас, есть пословица: «Друг познается в беде». Пройдя суровые испытания, мы полностью уверены теперь в Советском Союзе, как в искреннем друге.

Наша собственная решимость, арабская солидарность, поддержка и помощь со стороны Советского Союза, социалистических стран и всех миролюбивых народов — вот что позволяет сказать: агрессорам не удастся добиться своих целей.



Валентина Ивановна Гагарина с дочерью Лией читают письма, пришедшие в «Огонек».



НАШ ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР

К 70-летию со дня рождения
Михаила Кольцова

Тот, кто знал Михаила Кольцова, никогда не забудет его — он был небольшого роста, наполнен мюнхонской энергией, подвижен, как мальчик-подросток. Временами он излучал веселье и жизнерадостность, временами становился серьезным, строгим, сосредоточенным, сдержанным. Впрочем, никто никогда не видел его важным, сновитым, надменным, высокомерным. Эти свойства были начисто чужды ему.

Он пользовался большой признанной славой. Его знали все! Каждый его фельетон, очерк, корреспонденция неизменно привлекали внимание самого широкого круга читателей. Раскрывая газету, люди искали на ее страницах фамилию Кольцова и, если находили, радовались. Перо у него было острое, изощренное, умное, журналистская хватка — малозная, наблюдательность — умение увидеть, найти факт, придать ему широкое общественное звучание — всеохватная. Он искусно владел любыми видами журналистского мастерства, всеми жанрами, но чаще всего выступал как фельетонист, очеркист, публицист. Его подвижность и мобильность были изумительны. Сегодня он находился в Женеве, в гуще сложных международных событий, через несколько дней — где-нибудь в Мурашах, а ту пору глухомань. При тогдашних средствах передвижения это казалось волшебством. Он изъездил весь Советский Союз, всю Европу. Никогда трудности, сложности и расстояния не останавливали его. Он в числе первых советских людей перелетел через Гиндукуш, что в те времена было вполне героическим делом, — всемирных и могущественных лайнеров тогда не существовало.

Он почти никогда не писал, а диктовал, прохаживаясь по комнате, медленно цедя слово за словом, но каждое на ходу найденное слово было точным, весомым, ложилось именно туда, куда нужно, и

уже после диктовки никакой правки не требовалось. С таким же успехом он в случае необходимости мог диктовать прямо на ленту, без всякого риска засорить набор «нозлами».

Это был журналист, литератор, как говорится, «божью милостью», как бы рожденный именно для своей деятельности.

Каждый день его ждала огромная почта популярнейшего фельетониста, а в часы обязательного приема у дверей редакционной комнаты (слова «кабинет» он не выносил) выстраивалась очередь, словно и модному врачу-гомеопату. К нему обращались с самыми многообразнейшими делами и жалобами — большими и малыми: тот нуждался в крыше над головой, этому надо было «пробить» свое изобретение, этой — вернуть сбежавшего мужа, этому — найти управу на бюрократа или волонтичку. Считалось так: если Михаила Ефимовича возьмется за дело, значит, толк будет!

Но Михаил Кольцов был не только боевым журналистом, талантливым партийным литератором, но и блестящим организатором, деловым человеком, у которого все кипело в руках.

В 1923 году, когда ему не было и 25 лет, он организовал журнал «Огонек», вскоре завоевавший большую популярность у читателей. Работая в «Правде», он одновременно редактировал «Огонек», «Кронодиль», «Чудак» и еще несколько журналов.

Как он успевал? Эта загадка решается легко, если знать одно удивительное кольцовское свойство: он с завидной легкостью умел привлекать к себе людей, выбирать среди них умных и талантливых сотрудников, заражать их своей энергией, делиться с ними жаром своего сердца. Он мог прощать им любые несовершенства характера, будучи при этом абсолютно

нетерпимым к сарказму. Вот этого он никому не прощал и не извинял.

Он никогда не мешал людям работать, не давил на них силой своего авторитета и известности, умея так поставить дело, что любой «выкладывался» весь, без какого бы то ни было административного нажима.

И как первоклассный мастер советского фельетона он действовал так же. Он был признанным мэтром, но при этом отнюдь не требовал, чтобы его коллеги писали «под Кольцова», «учились у Кольцова». «Каждая собака должна лаять тем голосом, какой ей дал господь бог», — любил он повторять шуточную фразу. Но его поощрительная улыбка, вскользь брошенное слово «молодец» стоили дорого!

Он тонко понимал, что фельетон — это не балагурство, не забава, не анекдоты; он говорил, что если читатель улыбнется при чтении фельетона один раз — это очень хороший фельетон, два раза — отличный. Он неоднократно повторял, что фельетонист должен работать «на чистом сливочном масле», иначе говоря, на проверенных и веселых фактах, не разбрасываясь по мелочам и помнить, что рубрика «фельетон» над заметкой или корреспонденцией еще не делает их фельетоном, являющимся самым сложным и ответственным журналистским жанром.

Прошло почти тридцать лет, как не стало Михаила Кольцова. Но фельетоны его живы и сейчас, они не потухли временем. Живет и его книга об Испании, где он был в самый разгар волнующих революционных событий, где имя его — Мигуель, в испанском произношении, — было чрезвычайно популярно. Жив он и сам, ибо истинный талант никогда не умирает.

Ник. КРУЖКОВ

КУДА ВПАДАЕТ ВОЛГА



Проверим одну истину: впадает ли Волга в Каспийское море? Сначала, чтоб не смущать школьников и учителей географии, ответим на этот вопрос положительно: впадает!

А теперь поставим вопрос иначе: можно ли сегодня по Волге доплыть до Каспия? Как сказать? В прошлом году три детошних морехода из восьмого класса совершили такое плавание на лодке-бухтарке, но, к величайшему своему изумлению, до моря не добрались.

Впрочем, что школьники! Бывает, что даже люди опытные, много ездившие по стране, наблюдательные и вездесущие, какими и надлежит быть журналистам, с детскими любопытством спрашивают: «Далено ли от Астрахани море?». Им, очевидно, представляется географическая карта, где в дельтообразном треугольнике волжского устья красуется кружок с обозначением «Астрахань». Ободок окружности почти касается морского побережья. Приходится, не скрывая иронии, отвечать: «Раньше, знаете, город был как-то ближе к морю. Вышло, пойдут дельта белее полоскать, глина, а вода в Волге мутная, там они прямо на Каспий чашут...»

Перейдем, однако, к фактам. В 1722 году Петр Первый подъехал на ботике прямо к Икопильским воротам Астраханского кремля, расположенного на невысоком холме.

С тех пор много воды утекло. Волга значительно сместила свое русло. Три густонаселенные улицы отделяют ныне набережную Волги от того места, где некогда приставали баржи и расшивы, беляны и боты.

На картах конца прошлого столетия на островах Икопильский. Он был построен в 1829 году в открытом море и представлял собой насыпной холм, укрепленный бетонными, панцирными плитами, на которых стоял маяк. На свет этого маяка выходили суда, идущие из Баку, Красноярска, Махачкалы и форта Шевченко. Теперь маяк погашен, а до острова можно добраться пешим. Еще раньше погасили огонь четырехбугоринского маяка, свет которого служил парусным судам. Теперь по его башне ориентируются только чабаны, ведущие отары на водопой. Возле островов Иван-Караул и Патра сердито урчат тракторы с машиноносилками.

Обмеление Каспия заметно больше всего в северной его части. Маловодье стало народнохозяйственной проблемой. И я вспоминаю о ней вовсе не для того, чтоб вылезать в затнувшийся спор: «Что будет с Каспием?». Высказывалось много советов, как помочь морю. Среди них были и откровенно наивные, например, предложение

отгородить Северный Каспий земляной дамбой, и весьма спорные, вроде поворота северных реч на юг.

Я вспоминаю об этой проблеме только потому, что скоро исполняется сто лет с тех пор, как несколько поколений людей, не избалованных известностью, настойчиво и тихо делают дело огромной важности. Если бы не их труд, Каспий давно уже был бы отрезан от двух важнейших рек: Волги и Урала. Эти люди — дноуглубители. И пока составляются более или менее уважительные прогнозы, пока накапливаются силы для действенных мер по решению сложнейшей проблемы Каспия, они буквально сдвигают горы...

Но все-таки впадает ли сегодня Волга в Каспийское море? Если рассуждать формально, то вроде бы Волга, как таковая, давно уже в море не впадает. Сложное устье великой реки складывается из нескольких крупных рукавов и множества мелких. Некогда основным рукавом, катившим свои воды в Каспий, была Старая Волга. Позже основным стал Баклановский рукав, а Волга, коей плыли и Афанасий Никитин и Струти Степан Разин, затерялась в обмелевшем заливе-култуна. Сегодня ее от моря отделяют огромные, заросшие камышом мосты и обсохшие острова. Не будь дноуглубителей, подобная участь постигла бы все волжские рукава.

Протоны с системой мелких ериков называются в наших местах банками. Самый важный из них — Главный банк. Это рукотворный, созданный людьми Волго-Каспийский канал. Полноты воды, справочники и специальные наставления — и вы убедитесь, что он стоит в числе крупнейших каналов. Не путайте его с Волго-Донем, Беломорканалом и другими речными каналами. Волго-Каспийский состоит в ранге морских каналов и имеет по законам моря.

Длина его постоянно увеличивается.

Подсчитано, что если собрать весь грунт, поднятый со дна моря за 94 года, то его хватило бы для того, чтобы завалить русло любого искусственного канала. Впрочем, это мрачный пример. В «Каспрейдморпути» нам предложили другое сравнение: попытались весь этот грунт разместить в современных самосвалах, но после первых же подсчетов махнули рукой: выяснилось, что всех самосвалов в мире не хватило бы.

Так куда же девалась земля, поднятая со дна моря? Прорезав устьевой бар и уходя все дальше в море, земснаряды откладывает грунт за бровкой канала, углубляя и, говоря профессионально, «уширяя» его. Образовалась как бы река в море — судоходный путь, связывающий Европейскую часть

Советского Союза с портами Каспия.

Народнохозяйственное значение этого морского пути неоспоримо. Еще совсем недавно, когда наша страна имела единственный источник нефти — Баку, именно этим путем перевозили большую часть нефти для всей советской промышленности. Новые нефтеносные районы не исключили его важности. Современные суда рыбников и торгового флота пришли на Каспий, обогнув Европу. Из Баку лежит водная дорога в Одессу, Ленинград.

А как у волжан с техникой? Конечно, она здесь новая да новейшая. Но есть тут и чудо дедовского рабочего и инженерного умения — земснаряд «Сормово». На его борту орден Трудового Красного Знамени. Этого ордена экипаж удостоен еще в 1921 году за выполнение правительственного задания по углублению бухты, носившей тогда имя Ильича. А построен ветеран в 1912 году.

Земснаряд этот — гордость «Каспрейдморпути». Однако 62 инженера и техника, работающие сегодня на канале, могут гордиться и новинками. В последнее время технический флот пополнился современными дизель-электрическими судами, насыщенными средствами автоматизации, почти исключившими ручной труд. Специалисты канала разработали радиорейку — любопытнейший прибор, позволяющий промерять уровень стояния воды автоматически и данные передавать судоводителям по радио.

Еще в 1952 году вдоль всего канала стояли лодки-«огневики», их обслуживали десятки фонариков, а за маяками наблюдали «смотрители огней». Фонарь «летучая мышь» с «аккумуляторными» фонарями с автоматом «солнечный клепан». Сегодня тут стоят электропроблисковые аппараты, которые буквально стреляют в темноту.

Ночью канал напоминает проспекты в море, весело мигающий красными и белыми огнями. Но нельзя быть благодушным: у «проспекта» крутой характер. Судоводители знают все его напризывы, как раньше это знали лоцманы.

В седую старину был великий водный путь: путь из варяг в греки, соединявший Новгород с Киевом. Вообразите такое: с трудом добравшись от Ильменского озера до Киева, бедные варяги узнали бы, что Днепр в устье обмелел и дорога к грекам... кончилась. Подобное могло бы случиться и ныне с великим путем современности — Волго-Балтом, если бы Волга не завершалась каналом. И если кто-то из вас собирается совершить путешествие по воде от берегов Белого до берегов Каспийского моря, пожалуйста, путь свободен! Волга, как и всегда, впадает в Каспийское море!



50 ЛЕТ В ПОЛЕТЕ

«В кабине не было ни тарелок, ни ложек, ни вилок, ни салфеток. Протянув руку к контейнерам с пищей, я достал первую тубу. На Земле она весила примерно полтора грамма, здесь же, в космосе, из весила ничего. В тубе содержался суп-пюре, который я принялся выдавливать в рот, как зубную пасту. На второе таким же манером я поел мясной и печеночный паштет и вся запил черносмородиновым соком, тоже из тубы. Несколько капель сока пролилось из нее, и они, как ягоды, повисли перед моим лицом. Было интересно наблюдать, как они, чуть подрагивая, плавают в воздухе. Я подобрал их на пробку от тубы и проглотил».

Это рассказывает заместитель главного редактора журнала «Авиация и космонавтика», Герой Советского Союза Герман Титов.

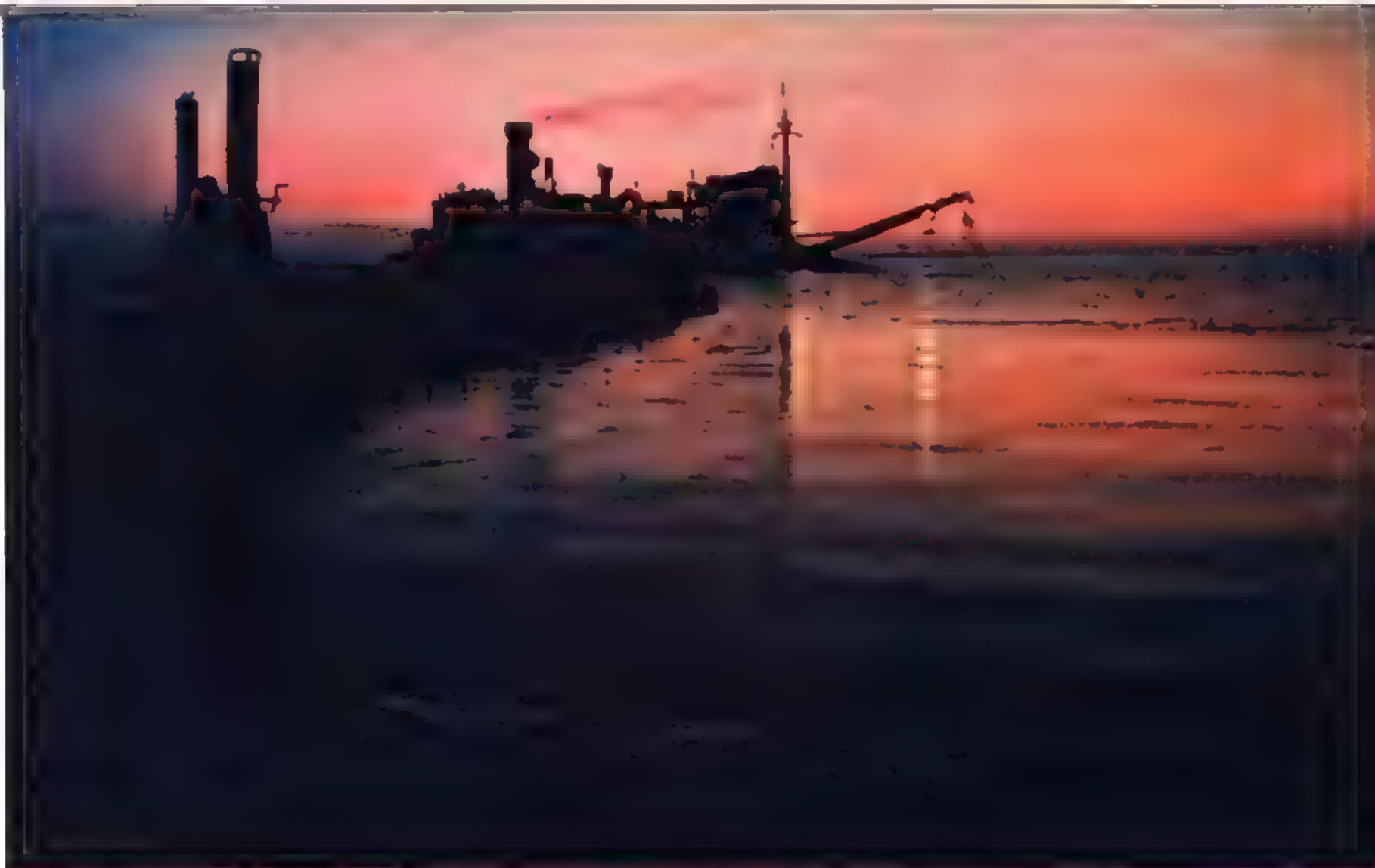
В июне 1918 года вышел в свет первый номер военно-авиационного журнала «Вестник Воздушного Флота», из которого впоследствии вырос журнал «Авиация и космонавтика».

От статей о первых советских авиационных отрядах, боровшихся на фронтах гражданской войны, до материалов о сверхзвуковой, ракетно-космической, межконтинентальной авиации современности. От прославления мужества и отваги авиаторов, проявивших в борьбе за власть Советов, в исторических беспосадочных перелетах, в

боях против фашистских захватчиков, до описания романтики полетов на сверхзвуковых скоростях, репортажей с космодрома и Звездного городка, рассказов о победах на орбитах Вселенной. Страницы журнала — подлинная летопись отечественной авиации, боевые биографии лучших летчиков, техников, командиров, инженеров и ученых.

Ни одно крупное событие в советской космонавтике, вступавшей в свое второе десятилетие, не оставлено без внимания журнала. На его страницах выступают крупнейшие советские ученые, инженеры, испытатели, представители авиационной и космической медицины, специалисты, готовящие и обеспечивающие космические полеты, и сами космонавты. В юбилейном номере журнала будет рассказано о последних достижениях авиационной техники, о новых космических экспериментах, о полетах на просторы Вселенной, о питании космонавтов, о насущных проблемах, которые из года в год решают исследователи космоса.

Стартуют космические корабли. Уходят в полет крылатые защитники мирного неба Родины. День за днем трудятся в Пятом океане грузовые и пассажирские самолеты. И недалеко тот день, когда самолет выйдет на космическую орбиту и после полета приземлится на аэродроме. Две дороги — дорога летчиков и дорога космонавтов — сольются.



Землесос «Сормово» непрерывно расчищает и углубляет дно Волго-Каспийского канала.

Фото В. Кузьмина.

Рыбаки колхоза имени Ленина, Икрянинского района, ведут лод красной рыбы.





Капитан теплохода «Юг» Павел Иванович Соколов.

Днем и ночью идут суда по каналу.



Вот там все и произошло. Пока оркестранты собирали свои инструменты, пока гардеробщики подавали пальто любителям танцев, уборщица тетя Мотя находилась внизу. Потом поднялась наверх. Танцевальный зал отдала от неистовых ритмов шейки, и никто не мешал ей флиртовать про себя:

«Это ведь надо! И что за танцы такие, простите господи, выдумали. Все трясется, а друг на дружку ты и не помотришь. Шакалы, право слово. Идолы... И вино опять пыли,— заметила она пустую бутылку в углу.— Неужто и здесь нельзя обойтись?»

Глухой удар и звон разбитого стекла заставили ее вздрогнуть. Она засеменила к выходу, но успела заметить только ташнуз темноты в дверях. Разве догонимы Толстая стеклянкой перегородкой заводского музея землеса трещинами. Сюда стало тихо. Субботняя ташнуза в Доме культуры завода «Сибсельмаш» окончилась.

Снимает: частность, радий и досадный случай? Возможно.

На следующей день меня пригласили в тот же Дом культуры. Заводское англофильствие готовилось отметить свое двадцатилетие, и его бессменный руководитель Иван Архипович Кузнецов знакомил меня с местными поэтами и писателями. Слушали мирческие стихи и отрывки из поэмы «Маразота» молодого рабочего Леони Носарева. Делались впечатления...

Во время перерыва я вышла в фойе. В танцевальном зале вновь бушевала шейка. Виртуозы в расклешенных брюках с каменными лицами выделялись уюпокрашенными па. Дилетанты малюпо всплескивали руками и на своих мушкетерах были похожи разве что каменностью выражения лиц. У подошминика трое открыто разлазили по станкам портвейн. Оказывается, его столь же открыто продавали в буфете. У стеклянкой перегородки сидела вся та же тетя Мотя.

Я подошла и даму парням, представилась и спросила, давно ли они работают на заводе. «Что вы? — удивились они. — Мы студенты. Живем поблизости, приходим послушать оркестр. А рабочие... Мы не уверены, встретите ли вы их здесь». Тут пришла моя очередь удивляться. Но, увы, Слава Шапокин из станко-строительного техникума и Виктор Мельников из физкультурного оказались правы. Из пятнадцати опрошенных — ни одного рабочего. Это в заводском Доме культуры! А на вопрос «Что привлекает вас сюда?» большинство отвечало: «Да близко тут... Опять же оркестр хороший». А один, отказавшись назваться, так прямо и сказал: «Здесь это самое продают, — изображая красноречивым жестом бутылку. — И весело...»

Грустно смотрел я на красочные стенды с фотографиями рабочей династии Казановых и сценами из спектаклей народного театра. Стенды рассказывали, что только за год ДК дал более двухсот концертов художественной самодеятельности, что здесь работают шестнадцать разных кружков, изостудия и т. п. Вся эта уйма хороших сведений довольно резко спорила с вышеприведенными диалогами. Мне захотелось разрешить этот спор, и я без промедлений отправился в рабочее общежитие завода «Сибсельмаш», благо их было целых три и все рядом, буквально за стеной Дома культуры... Вот кое-что из услышанного мной.

Василий Щербанов, 19 лет, токарь второго разряда, на заводе около трех лет: «Клуб хороший. Празда, порядка там мало. Особенно на танцах... Вечерам рано три в мессир».

Владимир Архипович, токарь, 19 лет, комсомолец: «Работаю на заводе год. Был в клубе один раз, на концерте...»

Николай Незлов, шофер, недавно демобилизовался из армии. Говорит не прерывая игры на баяне: «Живу месяц. В клубе не был. Почему? Сам не знаю. Может, и пойду...»

Валерий Наумен, мастер-электроник, 28 лет, работает на заводе три года, студент-электроник последнего курса электротехнического института: «А я вот сижу тут. Ну, сидю, что я там не видел? Кружки кройки и шитья? На танцах — хулиганье и пьянство. Порядка нет. Вот когда наведут порядок, тогда и ходить буду... Об отдыхе молодежки из завода не думаю. Посмотри, разве это общежитие?»

Справедливости ради надо сказать, что в общежитии действительно неуютно. Ни в одной комнате нет шкафа для одежды. Рабочий и парадный, она висит и влезает как попало на спинки кроватей и стульев. Вместо графинов литровые эмалированные кружки. Ничего не скажешь — железный сервиз.

Но меня смущало другое — равнодушие молодых, оюндающих, когда какой-нибудь дядя со стороны придет наводить порядок у них в

жизни. Член заповедь Клим Мамонтов Болгов, отвечающий за работу клуба, тут не вылезает — Это уже говорит автор народного театра Владимир Овчаров. — Теперь посмотрите сюда... и сюда... и сюда. Разве это шедевр? Разве захочет рабочий просто так прийти в клуб, посидать, поговорить, встретиться с друзьями? Никогда.

А ведь Дом культуры имени К. Цеткин завода «Сибсельмаш» считается одним из лучших в Новосибирске.

Теперь перейдем улицу максимов и окажемся прямо перед Домом культуры металлургов, о котором говорит как об отставшем. Услышав я здесь примерно то же, что слышал в «переходном». Речь шла о большом количестве всевозможных кружков, о прекрасном киноаппарате (в других ДК то же самое называется киноуниверситетом), клубе любителей музыки («Мир прекрасного», об агитбригаде, клубе литературных

нашу и пройти-то страшно (это говорили парни). В Доме культуры двадцать плановых кинофильмов в месяц. Фильмы идут вторым зрением. Что это значит? Это значит — единственный зал со сценой постоянно занят и постоянное полупустой. План не выполняется. Прибавьте и двадцать кинофильмов выходных и спросите: когда и где заниматься самодеятельности?

И еще. Основная масса рабочих живет далеко отсюда. В тех районах есть, как правило, и кинотеатр и какой-нибудь другой клуб... А сюда не идут.

Еду на металлургический. В партию, самую стереотипную фразу: «Работа не клубу мешает громадина». Зато секретарь, монета комсомола, аскалла и пишущая оптимизмом Алла Афанасиевна откровенно сказала: «Дом культуры не занимался совершенно». Попыталась вспомнить, когда в последний раз был молодежный вечер, и не смогла. Там же откровенно сказала, что не считает основной причиной «завузов» в ДК его чисто географическое положение.

— У нас пока только хорошие планы. Тут и мониторные вечера самодеятельности цехов, и диспуты, и клубы по интересам... Но это не только планы... Загляните к нам через полгода...

А я заглянул раньше. Комсомольцы мажором стали помогать Дому. При их активном участии созданы и действуют клубы «Молодого рабочего» и «Молодого воина».

Был я и в общежитии металлургов. В нем гораздо приятнее, чем в сибсельмашевском. Но относительно ДК разговоры примерно все еще те же:

— Не ходим в клуб потому, что там скучно...

Что хотят рабочие от своего клуба? Чтоб там было весело, что интересно, чтоб ты уходил оттуда с хорошим настроением, чтоб... Ну, в общем, весело и интересно. Но тут начинается разлад идеала с многообразным представлением о том, что есть весело и интересно. Одному, оказывается, весело только на танцах. И интересно тоже. Другой удовлетворится тономной стихией и концертом симфонической музыки. Третий почти эмвасчерно терзает гармонию, приводя себя в приятное расположение души и выжывая разлики жалчи у соседа, который обожает сырпикку. Как тут быть? Сколько людей — столько и вкусов. Клубы, дома культуры стараются угодить всем. Маленькие кружочки только тут не встраиваются. Возможно, так и надо. А не стоит ли поспорить вот о чем: должны ли каждый клуб быть сильным во всех отношениях? Думается, что мушкетерской стержень, что-то главное в деятельности каждого клуба. Допустим, в одном существует интереснейший клуб литературных встреч и нет там условий для создания народного театра. Может, и не стоит мучиться над его созданием? Не тут-то было. Вступает в силу некая логика подсчета очков при подведении итогов деятельности клуба. Нет народного театра — записи минус. А вот что я услышал от заведующей культурно-массовым сектором областного совета профсоюзов Надежды Андреевны Корольковой:

— Сегодня я мысля себе клуб так человек должен приходить в него как домой. Может быть, выпить чашечку кофе, или сыграть в шахматы, или просто поговорить с другом... В наших ДК этого нельзя сделать просто потому, что в них нет условий. В городе совсем три профсоюзных клуба. Четырнадцать из них мы присвоили название Домов культуры. Но, честно говоря, на все этого здания достойны. Большинство домов культуры построены в давние годы, там попросту негде повернуться. Во многих разместились культурные организации, начиная с телезатона и кончая технической библиотекой и загсом. Права вытеснить их у нас нет, а угрозы нами они слушают, нам известный нот а известной басне Крылова... Что касается остальных клубов, то это, как правило, небольшой кинозал, задаваемый непомогным планом, а штат — директор да кассир. И тому же клубу еще должен выдерживать конкуренцию с театром, телевидением и домашним уютом. Нет, конечно, не все у нас плохо. Побывайте, например, в Доме культуры имени Идана...

Я послушался совета Надежды Андреевны и не поехал.

ШЕЙКА, „ИДОЛЫ“ И ХОРОШЕЕ НАСТРО- ЕНИЕ

клуба и в общежитии. Но позволюте! Дом культуры-то ваш и для вас. Придите в него и устройте себе отдых по вкусу, выгоните хулиганов, зашнурите портвейн на кофе...

— Не идут, — жаловалась директор ДК — Дома культуры — Ренка Алексеевна Микрочева. — Комсомол активного участия в работе не принимает. Мы их сильно сюда затаскиваем, но разве хвалят они... Теперь решили заняться социологией. Распространим на заводе анкету, спрашивая в ней: что? как? почему? Вот так и работаем... Самодеятельность держится на дамских энтузиастках. В кружках в основном молодежь и шпательники, конующие поближе. Что еще есть в клубе? Очень много. Агитбригады, танцевальные вечера, университет культуры...

— Правление ДК работает лю-

битель, гостями и участниками которого были Клим Фомин, Афанасий Коптелов, Виктор Соснора, Борис Сулейменов... Здесь нет народного театра, но есть драматическая труппа, которую составляют шпательники, — и ни одного рабочего. Почему?

— Не идут, — отвечает директор Антонина Ефимовна Новикова.

А дальше пошло — про пассивность комсомола и занюх, про нехватку мебели и т. д. Но было и другое. ДК существует всего пять лет. И за это время в нем сменилось пять директоров и очень много, по словам Антонины Ефимовны, художественных руководителей. Сама она директорствует всего полгода, а художественный руководитель Валентин Эдуардович Барановский пришел совсем недавно. Дом культуры находится на отшибе, на пустыре. Вечером и

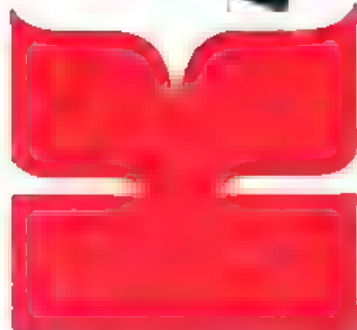


Семен Иванович Аралов.

ДРУЖЬЕ

ПРАВДА

Юрий ЧЕРНОВ



О и много раз бывал в этом кабинете. И точно знал, сколько минут отведено ему, строго планировал время, заранее продумывал ответы на возможные вопросы. Но сегодня Семен Иванович шел к Ленину вместе с Чичериным, впервые шел не по военным делам, а в новой для себя роли посла. Владимир Ильич быстро поднялся из-за стола. Он протянул руку Чичерину, спросил о здоровье.

Георгий Васильевич замаялся. Видимо, он хотел сказать обычное «полно здоровья», но Ленин не выпускал его руку и внимательно смотрел прямо в глаза.

— Спасибо, не жалуюсь, — уклончиво проговорил наконец Чичерин.

Ленин поздоровался с Араловым, окинул его быстрым взглядом и удовлетворенно сказал:

— Так, батенька, кончили воевать, дипломатом стали, хорошо!

Он еще раз взглянул на хорошо одетого штатский костюм Аралова и жестом пригласил садиться.

Семен Иванович сел слева от стола и пожалел: за спиной висела небольшая карта границ России с Турцией и Персией. Граница с Турцией была четко очерчена карандашом. Аралов помнил эту карту и полагал, что разговор пойдет, как и в недавние военные времена, у карты. Но карта Ленину не понадобилась. Он молча прошелся между письменным столом и пальмой, едва не коснувшись ее зерообразной ветки.

— Нынче вам поручается большое дело, — сказал Владимир Ильич, обращаясь к Аралову, и Аралов заметил, как ласково подчеркнул Ленин слово «большое».

Секунду-другую помолчав, он заговорил о том, как империалистические хищники слетелись в Турцию на кровавый далах ее богатств, как рвет ее на части Антанта и как, конечно, не упустила бы такого случая царская Россия. Но теперь...

Ленин ладонью резко разрезав воздух, решительно отдала прошлое от настоящего.

Чем больше слушал Аралов Владимира Ильича, тем отчетливее представлял свою роль, роль советского посла.

Обычно послы буржуазных держав отправлялись в чужую страну, чтобы искусно скрывать правду; ему предстояло ажадно и ажадно раскрывать правду трудящимся. Иностранцы дипломаты изощрялись, как полководцы, раздирать Турцию, прибрать к рукам куски пожирнее. Нашей дипломатии предстояло повести борьбу за целостность и независимость Турции.

Чичерин вдумчиво смотрел на Ленина поверх очков, иногда наклонялся к столу, делая пометки в блокноте. Кликишек его бородки то поднимался вверх, то упирались в грудь. Аралов положил руки на широкие подлокотники кожаного кресла и впитывал каждое слово. Он понимал, что, быть может, впервые Владимир Ильич размышляет вслух о роли советского посла.

Ленин говорил с присущей ему энергией. Царские дипломаты подкупали великих князей. Наше дело — дружить с народом. Продуманное, пережитое жило в его глазах, в его жестах, в его убеждающей речи. Он протягивал руку, как бы подавая собеседнику

отлитую фразу. Речь шла и о самом трудном. Как-никак царская Россия веками воевала с Турцией. Веками накапливались вражда, неприязнь, недоверие. Раны эти глубоки, зарубцуются не сразу. Нужны взаимные, большие терпение, такт, уважение к национальным особенностям.

— Разницу между царской Россией и Россией советской надо показать не на словах, а на деле...

Ленин снова прошелся, на сей раз небистро, раздумчиво, глаза его посуровели.

— Помочь материально Турции мы сможем, хотя и сами бедны...

Он приблизился к Аралову. Семен Иванович поднялся. И Ленин, прощаясь и жаяя благополучного пути, доверительно коснулся плеча Семана Ивановича, легонько подтолкнул его: мол, действуйте, не пасуйте, всегда поддержим...

Улица обдала Аралова ветром, кружащимся снегом, а поток прохожих подхватил его и унес за собой. Семен Иванович не успел и подумать, в какую сторону ему идти. Но он не останавливался, он шел, продолжая чувствовать прикосновение Ильича, и улыбался его неожиданным вопросу:

— С самой адетей Обуче детей турецкому.

Вот и Москва-река. Берега прихватили ледком, а по центру несло побуревшую шугу.

— Течет, — сказал вслух Аралов, но подумал не о реке, а о времени. Казалось, давно ли Ленин подписал обращение к народам Востока, провозгласил их право на самоопределение... А как асколызнулся Восток! И Персия, и Афганистан, и, конечно, Турция.

Последние недели Семен Иванович с утра до вечера знакомился с материалами об этой стране. Он, кадровый военный, хорошо представлял себе положение в ней: победенная в мировой войне, разорванная в клочья Англией, Францией и Грецией, Турция не поднялась бы без нашей поддержки.

«Товарищ Фрунзе на днях выедет в Анкару от Украинской республики», — вспомнил Семен Иванович слова Ленина. — По-аидному, вы с ним встретитесь».

«Вот удивится Михаил Васильевич, если увидит меня в Анкаре!» — подумал Аралов и зашагал в сторону дома.

...

Черное море было по-зимнему неприглядно: маленький колесный пароход «Феликс Дзержинский» подымало и опускало на волнах, кренило с борта на борт. Он постыкивал и поскрикивал в киплящей кутерьме шторма, обдаваемый пенными брызгами, исхлопанный сырым ветром. Сотрудники плыли на палубе почти на показывались. Ветер загнал их в каюты.

— Недолго это? — спрашивали капитана.

— Только разыгрывается.

Впрочем, еще в Батуми сотрудники посольства настроились на долгий и нелегкий путь. В Константинополе аладычествовали англичане и султан. Мустафа Кемаль-паша находился в Анкаре. В столицу новой Турции предстояло добираться через равнины и горы Анатолии караванным путем.

Днем в каюту посла зашел военный аташе Заонарев.

— Не хотите ли пройтись по палубе? — обратился он к Аралову

и, видя, что дети тоже начали собираться, добавил:

— А ребята лучше в каюте. Ветер усилился.

На палубе он передал Семану Ивановичу бинокль, прокомментировал:

— В море нежданный гость.

Бинокль выхватил кусок колышущейся воды и дальние дымы эсминца.

— Кто бы это?

Аралов и Заонарев поднялись на капитанский мостик. Скоро выяснилось: эсминца турецкий.

— Не «Эддин Ракс»? Не «Превеза»? — допытывался Семен Иванович.

— Название прочесть не могу, — ответил капитан. И тут же любопытствовал: — Откуда послу известны названия турецких кораблей?

— «Эддин Ракс», «Превеза» и «Шазини» — первые ласточки дружбы между Советской Россией и новой Турцией, — объяснил Аралов и рассказал эпизод, слышанный из уст Георгия Васильевича Чичерина.

В конце 1920 года в Синопе англичане захватили три турецких корабля. Морские отказались служить султану. Суды были разоружены. Но команды ушли кораблям из английского плена.

«Помогите!» — обратился к Советскому правительству Кемаль-паша.

По указанию Ленина турецкие суда были взяты под защиту береговой обороны Новороссийска. Морские встретили по-дружески, обеспечили продовольствием. Корабли вооружили и возвратили Турции...

Шторм не ослабевал. «Феликс Дзержинский» вспарывал волны, науклюжие колеса упрямо двигали пароход. А впереди уже громоздились горы, увенчанные белыми домиками, вился легкий дымок черной трубы, ли сигнальные огни Самсуна.

...

Застоявшиеся кони переминались с ноги на ногу, подрагивали от нетерпения. Аралов и Заонарев сдерживали их, жая с горного склона полчища разглядеть Самсун. Город по каменным террасам сбегал к воде. Бухта, с трех сторон, как подковой, зажатая горами, подымала на железных сваях над морем бревенчатый настил пристани. А вон и светло-серый колесный «Феликс Дзержинский». На мачте колыбался красный флаг. К пароходу подплывали турецкие лодки.

Конь, цокая копытами, пошел вдоль длинной улицы с двух- и трехэтажными домами. Первые этажи, как правило, были каменные, а надстройки деревянные. Из окон часто выглядывали любопытные, порой приветственно махали руками. Иностранцев легко угадывали, к тому же в Самсуне знали, что прибыл русский посол.

Аралов и Заонарев выехали за город, чтобы встретить Фрунзе. Он возвращался из Анкары. Фрунзе издали узнал соотечественника, подстегнул усталого коня и вырвался вперед. Михаил Васильевич был в длинной шинели, в серой каракулевой папахе. Он легко и привычно соскочил с коня, в подостывшей шапке — красноармейцам и аскерам — махнул рукой: мол, позжайте!

Лошадей повели на поводу. Михаилу Васильевичу хотелось поделиться впечатлениями, вести в курс дела Аралова и Заонарева.

Он заговорил о том, что в Рос-

Сии трудно было в полной мере представить, какой отклик здесь получило обращение Ленина к народам Востока. Оно долетало сюда вслед за раскатами Октября. И откликнулись самые широкие слои: крестьяне, рабочие, аскеры, интеллигенция, прогрессивная часть буржуазии. Решенно было всеобщим и безоговорочным: не допустим иностранного ига! Очистим свою землю! Во главе национально-освободительной войны стал Мустафа Камаль-паша. Регулярная армия только сколачивается. Партизанские отряды разрознены.

— Помните первое время у нас, на гражданской! — спросил Фрунзе.

Аралов кивнул.

— Между прочим, очень похоже, — добавил Михаил Васильевич. Положение, как нарисовал его Фрунзе, было сложным. Антанта натравила на турок Грецию. Наминики султана организуют мятежи. Разжигается религиозный фанатизм. Камато очень трудно. Но настроен он решительно, на пути не остановится. В договоре, который вел из Анкары Фрунзе, так и сказано: «Отменяя существующую между нами солидарность в борьбе против империализма...»

— Война становится всенародной, — продолжал Михаил Васильевич. — Султан держится в Константинополе на английских штыках, но, думаю, и англичанам придется убраться. Многие даст, конечно, наша моральная и материальная помощь, наш опыт.

И тут Фрунзе, обращаясь к Аралову, лукаво спросил:

— Владимир Ильич не выдал меня? Я же ни о чем не говорил, что мы встретились в Турцию...

Он вставил ногу в стремя и с шутилой лихостью скомандовал: — По коням!

За поворотом дороги, за серым уступом холма, показались пригороды Самсуна, и мотесарриф — губернатор санджака — с представителями города вышел встречать прославленного полководца Красной Армии.

...

Караванный путь из Самсуна потянулся в горы, — умытые, поросшие колючим, шетинистым кустарником. Коллектив посольства — всего 25 человек — разместились на неуклюжих арбах, низко крытых брезентом. Сидеть приходилось чуть пригнувшись. Кто-то поехал верхом.

Посольство охраняли конные аскеры: на дорогах было неспокойно, рыскали банды. Часто в ущельях прокатывались выстрелы, эхо отдавалось далеко-далеко, аскеры направлялись в сторону выстрелов, чтобы разведать обстановку.

Внизу клочкотая Мерд Ирмек, шлифуя ребристые глыбы валунов. А дорога карабкалась все выше. Из-под копыт коней срывались камни, скатываясь в бездну. Арбы трясли и мотало на выбоинах.

Мотесарриф снабдил Аралова обстоятельным маршрутом, поместил места удобных стоянок, расположил постовых дворов. Но маршрут явно был рассчитан на легких и стремительных кавалеристов, а не на грузные арбы, в которых ехали женщины и дети.

Семен Иванович решил сделать привал. Чуть в стороне от дороги, прилепившись к горе, как лесточ-

кино гнездо, нависал домик. К нему подступили деревья небольшого сада. Аппетитно пахло сдобой, тянуло горьковатым запахом кофе. Приблизился — оказалась кофейня. По рукам пошли горячие булочки и маленькие чашечки с черным кофе.

С горных склонов, казавшихся пустынными, спустились мужчины. На головах тугими жгутами накручены шарфы, туловища перебрачены широкими поясами. Скрестив ноги, мягко, пружиня, они сидели в траву. Сидели чуть поодаль от сотрудников посольства, будто незнакомые, пытались сдержать любопытство, поглядывая на гостей.

К крестьянам подошел посол, пригласил их испить по чашечке кофе. С помощью переводчика завязался разговор. Трудно было показать, откуда эти люди, не читающие газет, не слушающие радио, отрезанные от всего света горами и границами, черпают сведения о революции, о России.

— Мы знаем, что Ленин отдал землю бедным, — сказал густобровый приземистый крестьянин, держа грубыми, задубевшими пальцами маленькую чашечку.

Аралов заинтересовался, есть ли земля у него.

— У меня вот столечко, — крестьянин согнул пальцы, и ладонь стала маленькой и сморщенной. — Двадцать деңгемов! А у него, — показал на соседа, — только и земли, что под ногти набилось.

Крестьяне горько усмехнулись. Подошли женщины в широких шароварах со светлыми полосами, в красных кофтах, с тряпичными лохмотьями на ногах. Увидев незнакомых мужчин, они прикрыли покрывалом нижнюю часть лица.

Разговор внезапно прервал показавшийся на дороге караван. Впереди шел ослик. За ним медленно шествовали верблюды с большими ящиками, обернутыми белым полотном. На одном из ящиков был укреплен флажок с изогнутым полумесяцем и пятиконечной звездочкой. И, наконец, за верблюдами шли запыленные кони. Они тащили орудия, оставлявшие на дороге глубокие колеи.

— Русские пушки, русские пушки, — заулыбались турки, — это для Камаль-паши.

Аралов без труда узнал орудия, которые еще недавно вали огонь по врагам Советской республики. И радость крестьян была ему понятна. Все они верили: прогонит Камаль иностранцев, освободит землю и раздаст ее бедным.

Караван втянулся в ущелье, скрылся в сизой дымке. Не стала пора продолжать путь и посольству. Крестьяне проводили гостей до дороги, а старик с выгоревшей барашковой шапкой минут пятнадцать шел, не отставая. Потом он остановился, помахал рукою и что-то прокричал вдогонку отъезжающим. Переводчик объяснил, что старик желает каравану дружбы счастливого пути.

...

Анкара вилась и петляла крышам, узкими улочками, карабкалась в гору к зубчатой стене древней крепости, прижималась к земле ветхими лачугами, тянулась в небо белыми минаретами, бойко торго-

вала жареным горохом и аляскинским. На перекрестках дымились котлы халы, прохоложд будоражили запахи пекарен.

В кричащей пестроте восточного города Семен Иванович Аралов прежде всего подмечал другое: марширующий на площади отряд аскеров, караван с боеприпасами и, конечно, плакаты, плакаты и плакаты, облетевшие заборы и стены домов. Это были плакаты сражающейся страны. На одном из них — самом распространенном — изображался поверженный на землю араг. Он прикрывал себя рукою, но аскер добывал его штыком. Поодаль стояла женщина с ребенком на руках. Она ждала аскера с победой.

Аралов шел по улице, и повсюду его провожали глаза этой молодой женщины, в которых застыло тревожное ожидание. И даже в коридорах, ведущем в приемную Мустафы Камаль-паши, он снова увидел турчанку, прижимающую к себе ребенка.

Вождь новой Турции принял советского посла в просторном кабинете. Он был в военном мундире; из-под широких, низко нависших бровей смотрели испытующие глаза. В последующие месяцы и годы Аралов не раз видел эти глаза в меджлисе и на фронте — намигающие, волевые, точно нацеленные.

Напряжение первых минут прошло, когда закончилась официальная церемония и Мустафа Камаль-паша пригласил советского посла продолжить беседу за чашкой кофе.

Камаль-паша был откровенен. Он рассказал Аралову, как следили в Турции за событиями в России, как реагировали на обращение к народам Востока. Он подчеркнул, что первым внешнеполитическим актом Великого национального собрания Турции было письмо на имя В. И. Ленина с предложением установить дипломатические отношения с Советской Россией и с просьбой оказать помощь в борьбе за независимость.

Аралов подлинула и тронула прямота, с которой Мустафа Камаль-паша говорил о трудностях в стране, о нуждах армии. Чувствовалось: эта прямота движется доверием, внутренней убежденностью, что борьба против колониального гнета на Востоке — дело общее. Понимал он, что и Россия, разоренная войной, сейчас налегала, и высоко ценил ее помощь.

Семен Иванович возвратился в посольство. Поскрипывали деревянные ступени. В комнатах и коридорах стояла тишина. В окно заглядывая молодой масл — точно-точно как тот, трепетавший на флажке каравана с боеприпасами и орудиями, который шел из России и случайно повстречался на одной из дорог Анатолии.

Дети — все трое — спали на широкой тафте. Одевало спало, блики месяца и тени деревьев отразились на балюстной стене. Семен Иванович поправил одеяло, постоял возле детей и вдруг заулыбался. Он вспомнил Ильича, его неоконченный вопрос и совет: — С семьей едет! Обучите детей турецкому.

Тогда, пожалуй, это воспринималось как шутилка-пожалание. Но сейчас словно смыло будничное значение этих слов. Конечно, речь шла о новых взаимоотношениях между народами, о их будущем, каков оно должно быть при наших детях.

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

В одном из углов кладбища в городе Ильянес (Аргентина) стоит высокий белый монумент. На фоне большого знамени из камня с начертанным на нем знакомым и близким словом «Мир» — фигура девушки с гордо поднятой головой и устремленным вперед взглядом. Одной рукой она крепко держит древко, поднимая вверх это знамя, а другой поддерживает свертки раненого юношу.

На смену отдавшим жизнь за дело народа остаются новые герои, и они идут вперед, приняв от павших знамя борьбы, — вот смысл этого величественного монумента. Так народ увековечил память о своем верном сыне Хорхе Ильянес, погибшем в борьбе за счастье, мир и социализм.

О героях аргентинского народа рассказывается в очерке «За счастье для всех», который вошел в книгу «Сильнее смерти». Эта книга представляет собой вторую из серии книг, посвященных героям международного коммунистического движения и подготавленных Институтом народов Азии, Латинской Америки, Мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Первая книга вышла в 1964 году под названием «Жизнь, отданная борьбе».

Аргентинскому герою — коммунисту Хуану Игальинелю (очерк «Доктор Инга») принадлежит слово: «Мир для коммунистов — это центральный рычаг для широкой мобилизации и сплочения масс». Игальинель был арестован и убит в 1955 году. Его убили подло и трусливо — до сих пор неизвестно, где он похоронен. Возмущение народа этим убийством было так велико, что впервые в истории Аргентины власти вынуждены были осудить на разные сроки тюремного заключения полицейских чиновников за то, что они пытали и убили коммуниста.

«Рабочий, трибун, революционер» — так называется очерк о Гарри Поллите, который 26 лет возглавлял Коммунистическую партию Великобритании. Он умер именно так, как написал когда-то сам: «Если доведется умирать, то... убеждая, споря, борясь!».

Пальмиро Тольятти, Морис Торез, А. Зейнов, З. Бернард и многие другие — о них написана эта книга. Их нет в живых, но их самоотверженная борьба служит примером всем коммунистам. В коммунистах, о которых рассказывается в этой книге, воплотились лучшие черты революционного ленинского склада. Каждый из них ирел и мучал в горниле жестокой борьбы классовых боев. Они пали в неравном бою, но оставших не стало меньше. Приговоренные и смерти, они обвиняют своих палачей. Даже путь на эшафот они используют для того, чтобы пропагандировать свои идеи.

Но в книге прославляются не мученики, хотя многие из этих людей, о которых рассказывается, вынесли страшные пытки и были убиты. Прославляются народные герои, способные на великие подвиги.

Со страниц этого сборника вырастает очень яркий образ коммуниста — организатора своего класса и своего народа, и в то же время простого и доброго человека; партийного организатора на фабриках и заводах, журналиста, пропагандиста, борца подполья и блестящего парламентского деятеля. Разными путями пришли они к идее коммунизма. Но, вступив в партию, они не изменили ей до последнего вздоха своего. Они истинные герои, именно о них сказал Пабло Пикассо:

«Ведь если я гореть не буду, и если ты гореть не будешь, и если мы гореть не будем, так кто же здесь расскажет ты?»

Они погибли за счастье народов, и народы чтут светлую память о своих героях.

Т. ГОНЧАРОВА

Дешев — 0,0010 г.

Медленные трамы над Соретью, над Вильной, белые стены монастырей среди буйства молодого лета. Еще не наполнились поля шумом машин. Только бьющая с неба трель жаворонка да резкие удары крыльев амста, исполняющего танец под гнездовьем. Удивительное время — июнь на Псковщине!

...На дорогах вереницы машин, автобусы. Чей путь лежит на Псков, радио не заглянет в места, с детства привычно стоящие рядом с именами поэта: Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь... Именинник июнь здесь особенно многоликий. Масленица, Ленинградцы, жители Пскова, Таллина, Риги — сто пятьдесят тысяч человек — аудитория, собравшаяся на Второй всесоюзный Пушкинский праздник поэзии. Разные языки и парочки — монгольский и венгерский, французский и

польский. Это звучат голоса наших друзей, голоса тех, кому нил Пушкина — символ дружбы и любви к русскому народу, его культура, его поэзия.

На повест поднимается Ярослав Смеляков. Он читает строки, романские галью что, дорогой от Пскова. Барды Корбаева, Максим Тани, Ахмад Шухтар, Давид Кутуальников — звучат голоса братьев России, звучат стихи и в них шагает солнце Узбекистана, улыбка Молдавии, простор русских полей.

...Высоко над Михайловским, над старинной усадьбой, над Соретью, — амсты. Крыло в крыло кружат птицы. Не гаснет июньский день, принесший славу России.



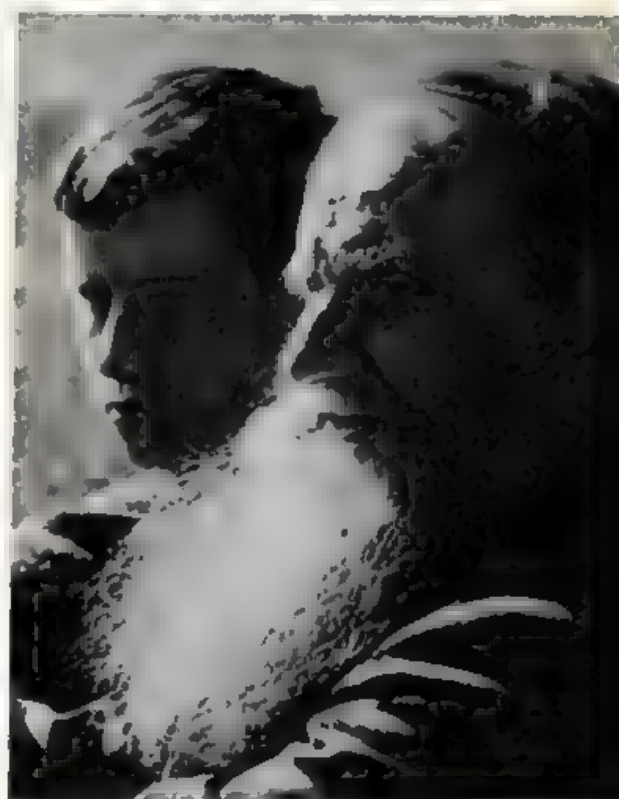
Любимому поэту.

Амсты над Соретью. ➔

В РАСОЮ ВЕЧНОЮ СИЯТЬ



Валентин Катков среди молодых гостей праздника.



Писатели Михаил Леонидович Логинков и его друг Серама — чество тости Михайловского.

Звучит стихи.



3

замечательный русский врач конца прошлого столетия Григорий Антонович Захарьин любил «пощекотать» воображение московских сограждан, преимущественно купеческого звания, «остротой» своего

глаза, умением поставить диагноз, что называется, «с порога». Сохранился рассказ о таком случае из его обширной практики. Захарьин приехал по вызову, важно поздоровался со всеми, кто его встречал, тщательно вымыл руки и направился в комнату, где лежал больной. Но не вошел, а лишь потоптался у двери и, к взыску удивлению хозяев, повернул обратно к вешалке. Уходя, он безапелляционно бросил: «Замените в комнате обои!» Совет знаменитого доктора, пользовавшегося непререкаемым авторитетом, был, разумеется, немедленно выполнен. И что ж! Больной быстро поправился. Объяснялось все довольно просто: по ряду внешних симптомов, сразу сказанных натренированным глазом, Захарьин определил: отравление мышьяком. А по прошлому опыту он знал, что мышьяк выделяет зеленые обои.

В наши дни мы что-то очень редко встречаемся с подобными «чуждыми» диагностами. Может быть, в стране не стало талантов или захирело, пришло в упадок врачебное мышление? Конечно, это не так! За минувшие полвека далеко вперед — по старым меркам на целые века — шагнула медицина как наука. По-инному она взглянула на болезни, иные требования предъявила и к личности врача. Любая болезнь зарождалась, как теперь доказано, дана не в клетках, а в составляющих их молекулах. До поры до времени это еще не речка, не ручей, а прихотливые струйки между камнями. Лишь со временем, когда в процесс втягивается та или иная ткань или орган, «поток» будущего недуга обретает известную специфичность. Однако истинно болезнью (или, как говорят врачи, нозологической формой) он становится только тогда, когда на изменение начинает реагировать целостный организм.

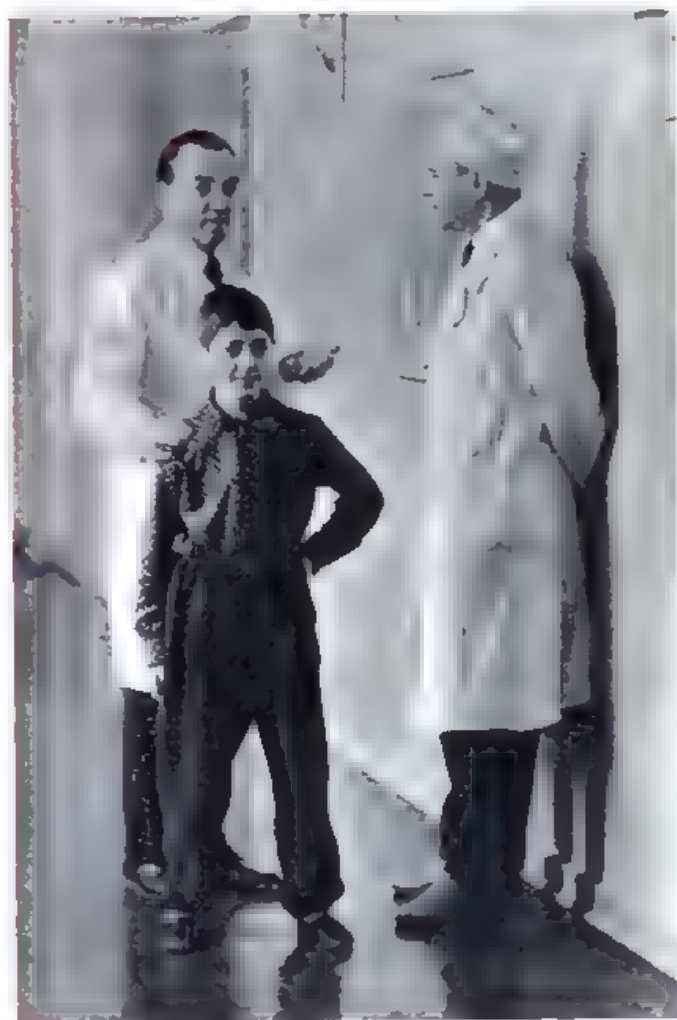
Эти новые воззрения безжалостно спутывают старые понятия. Когда же впредь должны начинаться профилактика и лечение — на стадии безликих струй, журчащих ручейки или полноводной речки? Общий ответ готов заранее: бороться с уходом от нормы надо начинать как можно раньше. Но когда раньше? Это зависит прежде всего от того, какими методами и средствами владеет врач, чтобы выявить и распознать неблагополучие, зародившееся в самых глухих тайниках организма. Заранее известно, что при всем совершенстве своих знаний и опыта врач не может разглядеть с порога зреющую в легких или желудке злокачественную опухоль, распознать «немую» язву, ревматизм или определить, каким пороком поражено сердце. Для решения этих сложных и тонких задач ему уже мало одних только пяти его чувств, профессиональной зоркости, опыта и памяти. Обширные знания, трудные, зачастую врачебное мышление теперь необходимы врачу, чтобы критически сопоставить клиническую картину развивающегося недуга с той огромной информацией о болезнях, которую поставляют «машинные» и лабораторные исследования. А потом безошибочно выбрать из обширного арсенала новейших лечебных методов и средств (большинство из них обладает сильным, но узко направленным действием) то, что способно точно поразить цель. Современному

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЖИВОЕ СЕРДЦЕ

А. ЧЕРНЯХОВСКИЙ

Сегодня народ нам по достоинству платит чутким, опытным, верным друзей своих — советских медиков. Поистинно зорко оберегают они самые священные, самые дорогие рубежи — рубежи здоровья! Все достоинства отечественной и мировой науки, весь талант, разум и опыт свой без остатка отдают они нам с вами, людям!

Низкий поклон вам, дорогие советские медики!



Слева — проф. Г. М. Сазонов, справа — проф. В. В. Зарецкий. В центре — Мама.

Фото И. Туниса.

снайперу просто нечего делать с допотопным дробовиком, ему необходимо тщательно выверенное оружие, снабженное оптическим прицелом.

Что мог бы сказать тот же Захарьин, встретившись с таким, к примеру, больным, как Гриша Глебоз? В свои 16 лет паранек этот поставил в тупик не одного искусственного диагноста в Таллинне, Ленинграде, Москве. В том, что мальчик болен, болел тяжело и опасно, никто не сомневался. Дотронувшись рукой до его груди над сердцем, я почувствовал: больное сердце словно стремилось вырваться из плена тоненьких мальчишеских ребер. А шум! Представляю себе полилинейного врача, к которому впервые попал такой пациент. Ж-ж-ж — неживой, скрежещащий-шипящий машинный звук раздается и млеочет где-то внутри, словно там трутся друг о друга непригнанные шестерни. Не нужно быть врачом, чтобы понять: такой не жилец на белом свете. А отец и мать мальчика — врачи, они все понимают! Самому же Грише все пока нипочем, он лишь подтягивает штанишки, расправляет пижамную курточку, прыг с кровати и в коридор, боком, сномом на одной ноге. Карие глаза блестят, личико ослеплено — ему весело, вот сколько в клинике таких же, как он, ребят, новых товарищей!

Профессор Василий Васильевич Зарецкий — молодой, элегантный, базукоризненно пригнанном и до христа отупоженным халат — тоже, как и все до него, в недоумении. Чего только не рассмотрел в руководимом им Отделении клинической физиологии Института клинической и экспериментальной хирургии — сюда ведь поступают самые сложные, самые непостижимые больные. Но и здесь Гриша Глебоз — загадка. Нет, в тупик специалистов ставила не сама по себе сердечная мелодия, а необычное место, где она прослушивалась, — третье межреберье. Тут же, по всем данным науки, не должно было быть. Здесь просто нечему скрежетать. Вот если бы шум исходил из второго межреберья, тогда можно было заподозрить незарощение Боталлова протока — ствола, соединяющего у утробного младенца дугу аорты с легочной артерией. Обычно этот сосуд уже к двадцатому дню после рождения ребенка запусовевает, превращается в артериальную связку. В редких случаях Боталлов проток сохраняется и порождает один из видов порока сердца. Кстати, и другие симптомы подтверждают подозрение, что у Гриши не зарос именно этот сосудистый ствол — на рентгенограмме четко видно увеличение правого и левого желудочков сердца, у больного одышка. Сбивает только этот проклятый шум в нехарактерном месте.

Как же все-таки узнать врачам: что творится там, в маленьком мышечном мешочке, скрытом от их глаз в глубине грудной клетки? Что испортилось в этом мальчишеском сердце?

Вчера такой вопрос безответно повисал в воздухе. Сегодня ответ есть. Наука нашла способ «заглянуть» в живое, бьющееся сердце, не вскрывая его. О героической истории этого открытия я расскажу чуть позже, а сейчас приглашаю читателей в небольшую комнату, отгороженную от мира толстыми свинцовыми стенами. Если б не белая простыня, не светлые хоботы рентгеновской установки, не спокойные лица врачей, могло показаться, что

это дзот или стальной бенковский сейф.

...Закрылась, чаюнув, свищовая дверь. Стало тихо и глухо. На столе Гриша Глебов. Глазеник моргают: страшно! Рядом профессор Зарацкий — весь спокойствие и мужская наклонность.

— Ну, друг Гриша, покажи себя человеком с большой буквы. Сейчас будет немного больно, а сделаю укол. Вытерпимы!

— Ага.

— Так я и думал, вот поверишь ли, друг мой, так именно и ду- шал...

Василий Васильевич говорит тихо, а сам, прищурившись, как незрячий, ощупывает мягкотую пальцем в паху у мальчика место, где проходит вена. Быстрое, уверенное движение, и полан игла уже в ней. Капелька крови на обратном конце подтверждает это. Ассистент подает профессору длинную, очень тоненькую, чуть изогнутую пластмассовую трубочку. Кончик ее скрывается в игле. Маленьким, плавными пассажами профессор проталкивает трубочку, и она уходит, уходит куда-то в глубь тела вместе с бегущей и сердцу густой венозной кровью.

Василий Васильевич Зарацкий нажимает ногой педаль. Оживает зеленоватый, фосфорический свечение телевизионный экран. Теперь под рентгеном видно, как медленно движется, ползет по изгибам сосуда темная, густая линия — зонд. Над ним колеблются в такт вдохам и выдохам чуть «размытые» тоненькие ребра, а за ними вырисовывается туманный абрис пульсирующего сердца. Черная змейка все ближе, ближе к сердцу. Вот она уже коснулась его, проползла в правое предсердие. Профессор собрав, сосредоточен быстрый взгляд на зубчатую «ленту» электрокардиограммы, на пляшущую линию электроореграфа, на цифры артериального давления — все в порядке. Мальчик лежит настроженный и притихший, ему не больно, не науточно и забко в этой бьющей в виски тишине.

— Пребу крови! — говорит профессор. Ему подает шприц, он присоединяет его к торчащему из паха концу пластмассового зонда и отсасывает немного крови — прямо из правого предсердия работающего сердца.

Пока за стеной производится экспресс-анализ, Василий Васильевич, поглядывая на экран, осторожно продвигает зонд еще ниже — в правый желудочек сердца. Снова проба крови.

Через минуту-другую лаборанты сообщают в кровь из предсердия 78 процентов кислорода, из желудочка — 61 процент.

Ничего не ясно! При дефekte Ваталова протона такой разницы быть не может. Не что же это? Как и откуда способна попасть в правый желудочек сердца кровь, не успевшая освободиться от кислорода?

Зонд, находящийся в правой половине Гришиного сердца, уже сказал все, что мог сказать. Новые вопросы остаются пока без ответа. А они необходимы. И все повторяется сначала. Еще один укол в паху, и через все туловище, теперь уже не по вене, а по артериям, укол ползет, причудливо извиваясь, второй зонд. Вот он у самых клапанов аорты. Надо определить: в какую сторону течет кровь — правильно или неправильно? Но кровь не отбрасывает тени, ее не видно на рентгеновском экране.

— Дайте контрастное вещество, — просит профессор.

К торчащему над пахом мончику зонда подводится шприц, легким нажимом поршня, и на экране отчетливо видно, как клубится возле аорты светлое, пушистое

облачко. Зарацкий весь внимает: куда понесет эту взвесь? Сердце с силой выталкивает кровь в аорту, контрастное вещество не должно, не может плыть против течения. Но что это? Трепещущая белесая взвесь, причудливо извиваясь, поплыла обратно в левый желудочек, вот здесь, где расположен срединный из трех клапанов аорты. Значит, его створки неплотно прикрывают выход! Значит, часть вытолкнутой крови, заехавшись, мчится против нормального потока. Вот откуда необычный, непонятный шум в третьем межреберье — из-за порочного клапана. Не повезло же нашему мальчику Грише — его сердце поражено сразу двумя пороками!

— Не могли ли врачи что-то в спешке упустить, что-то проглядеть? — спрашиваю я через несколько дней у Василия Васильевича.

Он молча усаживает меня перед небольшим экраном. Гаснет свет. Тихо стрекочет киноаппарат, и киноплёнка делает жемса кадры. Изображение того, что видел сам профессор. Мальчишка бегает по коридору, а в совершаю путешествие в его сердце! Ленту можно пустить быстрее или медленнее, заставить ее двигаться вперед или назад. Вот главный момент исследования, его кульминация — белесый язычок, трепещущий, аползает в просвет клапана. Я отпустил кнопку, и язычок неподвижно застрял в горловине левого предсердия. Болезнь теперь полностью изобличена! Техника не оставляет ей никаких лазеек. Хирург, которому предстоит оперировать Гришу Глебова, может вот так же, как я, сесть к экрану и спокойно гонять назад и вперед плёнку.

— Как развернутся события дальше? — спрашиваю я.

— Будет операция. Ясная и спасительная, — убежденно отвечает профессор. — Ее благополучный исход в какой-то мере предопределяется точным диагнозом и огромным опытом, зоркостью и хладнокровием хирурга, который будет оперировать. — Член-корреспондент АМН СССР профессор Глеб Михайлович Соловьев. Математический точный диагноз предопределяет, между прочим, и вид операции. Хирург знает теперь не только, что ему предстоит делать, но и как именно идти к сердцу, чтобы за один раз поднять аортальную створку и ликвидировать соустье в желудочках. Уверю вас, этот симпатичный парнишка будет жить.

— Да, у вас в руках мудрая техника, — замечаю я.

Профессор Зарацкий улыбается, как мне кажется, чуть снисходительно.

— Рядом с мудрой техникой нужен еще более мудрый врач. Диагноз болезни — еще только полдела, гораздо сложнее и ответственнее поставить диагноз больного, его состояние, его готовности воспринять лечение и целесообразности нашего вмешательства.

...Вместе с Василием Васильевичем мы идем по коридору отделения.

— Вон справа, в дверях, видите? Это и есть Вера.

Ладная, рослая, спортивного вида девушка лет двенадцати совсем не похожа на больную — хороший цвет лица, красная ослепка, развешенные плечи.

— Послушаем бы, что у нее творится в сердце — гудящий, вот-вот готовый взорваться котел. Прямо жутко становится. — И после маленькой паузы: — Выписываем ее сегодня...

Я не могу скрыть своего удивления.

— Недавно прозондировали у нее сердце и определили: отверстие есть, расположено в

нижней трети межжелудочковой перегородки. Не знаю, известно ли вам, что перегородка эта сверху состоит из пленки, а в нижней своей части — из мышц. Девушка, таким образом, повезло — мышцы сердца при его сокращениях сжимаются и почти закрывают просвет. Благодаря этому сброс крови из левого желудочка в правый не превышает одного литра в минуту. Да и давление в правом сердце хорошее — порядка 20—25 миллиметров ртутного столба.

— А как определяли величину сброса?

— По формуле, есть такая математическая формула. Берем пробы крови и считаем... — С отанком гордости профессор замечает: — А еще говорят, будто медицина — наука неточная.

— Но все-таки девушка больна, вы же сами говорите. Почему же ее выписывают?

— Да, диагноз не вызывает сомнений — межжелудочковое соустье. Но это еще только диагноз болезни, а болезнь не существует отдельно от больного. Организм нашей девушки вполне справляется, компенсирует дефект. И мы с полной уверенностью ставим диагноз состояния: «В операции не нуждается».

— А как же гудящий, готовый взорваться котел? — продолжаю допытываться я.

— Это много шума из ничего. Вера проживет с ним до 80 лет.

...

Теперь подошло время повествовать драматическую историю создания метода зондирования сердца. Вот что рассказал об этом профессор В. В. Зарацкий:

— В конце двадцатых годов ординатором одной из берлинских больниц Вернера Форсмана удивила старинная французская гравюра. Безвестный художник изобразил лошадь, которой через бамбуковые палочки вводят лекарство прямо в вену. Рисунок заинтересовал, заставил задуматься: может быть, и человеку такая манипуляция не повредит? Молодой врач просит разрешения проделать такой опыт на самом себе, но получает категорический отказ. Однако огонь в душе экспериментатора уже пылает. В одно из ночных дежурств он просит операционную сестру вопреки запрету ввести ему в вену зонд.

— Майн гот, как можно нарушить приказ!

— Но ведь это не ради суетной славы, а во имя науки, чистой науки!

— Ради науки! Хорошо. Тогда пусть герр доктор сделает опыт на мне. Я готова...

Форсман решаете на лиричность. Сестра тщательно кипятит инструменты и вместе с ними самый тонкий из имеющихся под руками резиновый мочеточниковый зонд. Форсман укладывает свою помощницу на операционный стол, привязывает ее и... сзади, за изголовьем, быстро вскрывает себе вену на руке и осторожно проталкивает в нее зонд. «Ну вот, все готово!» — шепчет он сестре. Та несколько кричит от страха. «Тсс, тихо, ради бога, я могу умереть». Свободной рукой Форсман отвязывает сестру, вместе они отправляются в рентгеновский кабинет. Аппарат выключен. Сестра с зеркалом в руках стоит

перед экспериментатором. В зеркале ясно виден экран. Никаких сомнений: конец мочеточникового зонда в сердце.

— Срочно делайте снимок!

Утром на врачебной конференции ординатор демонстрирует рентгенограмму. Коллеги открыванию смеются над ним: ну и шутник этот Форсман! Через полгода молодой врач выступает с докладом о своем эксперименте на конгрессе немецких хирургов. Из зала несется открывенное шиканье: «За кого он нас принимает, этот сумасшедший человек! Кто способен поверить, будто в связях святых, живое сердце, можно просунуть такую-то грубую резиновую трубку!»

Беда Форсмана состояла в том, что он своим открытием опередил время. Кому и зачем нужно было в 1929 году зондирование? Сердце было еще «запретным плодом» для скальпеля хирургов. Осмистый Форсман покинул Берлин и уехал врачевать куда-то в глухую баварскую деревню.

Идет время. Наука все решительнее снимает с сердца бывшие запреты, на нем уже сделаны первые отчаянно смелые операции. Но двигаться вперед без точной диагностики нельзя. И спрос рождает предложение. Далеко за океаном врач А. Курнан успешно зондирует живое человеческое сердце, определяет его минутный объем, берет пробы крови. Печать оповещает мир о сенсационном успехе. Удачнику присуждается Нобелевская премия. Но он честен, ученый Курнан, он заявляет, что готов принять награду лишь вместе с истинным родоначальником метода — Вернером Форсманом. Начинаются поиски никому не известного Форсмана. Его находят, приводят в Стокгольм и увенчивают заслуженными лаврами. Сельский врач возвращается на родину Нобелевским лауреатом.

Профессор Зарацкий показывает фотографию с дарственной надписью — умное, открытое лицо, глубокие, добрые глаза.

— Не столь давно мне довелось побывать в гостях у Форсмана. Он уже профессор, руководит кафедрой. Это истинный служитель науки. В те времена, чтобы ввести зонд, надо было вскрыть, а потом наглухо перевязать вену. Форсман «экспортировал» все вены на руках и ногах, у него больше не осталось места для введения зонда.

— Но вы-то теперь не вскрываете сосудов, а пользуетесь поллой иглой, — замечаю я.

— То, что вы видели, пока уникальные образцы. Мы их сами изобразили и изготовили.

...

Когда материал стоял уже в номере, нам удалось сделать заключительный снимок. Спасительная операция состоялась. Член-корреспондент АМН СССР профессор Глеб Михайлович Соловьев опять блеснул своим точным мастерством. Хирург возвратил Гришу Глебову здоровье. А мы благодаря этому получили возможность назвать мальчика его подлинным именем: Жана Гиблевица, ученик 3-го класса одной из школ г. Виру, Эстонской ССР.

ПОЛЬ ГОГЕН

А. ГОНЧАРОВ

Каждый раз, приходя в Эрмитаж, я поднимался в залы французской живописи. В последний раз я надолго остановился у полотен Поля Гогена. Этот художник неожиданно привлек меня. Чем же? Я переходил от одной его работы к другой и покал, что меня поразило. Его полотна — не этюды, не эскизы, а именно картины, во многом отвечающие нашим представлениям об этом жанре искусства.

Импрессионисты передавали действительность без особой философской и психологической основы, а гогеновская живопись — это цветные метафоры, полные гармонии, прекрасно ритмически и декоративно организованные, со сложным смыслом. Розовая земля на его полотнах не только потому розовая, что она освещена лучами заходящего солнца, но и потому, что это земля радости, изобилия. Фигуры людей в его композициях, которые он пишет с натуры, приобретают философский, символический смысл. Женщина — вечность, женщина — мир, покой. Цветовыми соотношениями он умеет передать страх, спокойствие, равновесие, раздумье.

Его искусство давно получило признание. Правда, после смерти художника. Вскоре. Годы через четыре. Французская печать, так зло высмеивавшая живописца при жизни по поводу каждой из его немногочисленных выставок, с удовольствием начала публиковать статьи, воспевающие его искусство, смаковать подробности его жизни. Обязательны, неважно, что он жил не так, как они, теперь, после смерти, начинали гордиться знакомством с ним, вспомнить, как встречались в кафе, на выставках, и, желая приблизиться к вечной жизни искусства Гогена, рассказывали вымыслы, чтобы отвести благородную роль для себя. Жизнь Гогена обрелась неправдоподобными событиями, легендами. О нем писали книги, статьи, воспоминания. И каждый автор норовил его биографию подстроить под свои понятия о жизни. Надо было спасти честь семьи, из которой ушел художник, и его изображали верным мучим, любящим отцом, уютным самозванцем. Надо было изобразить романтического героя — пожалуй, необыкновенная любовь к женщине с далеким островом. Надо подтвердить, что гений — это безумство, и на этот счет набиралось немало фактов: в тридцать пять лет оставил благополучную службу, лишился состояния, писал картины, которые не имели спроса, голодал, но оставался верен искусству.

Жизнь его действительно была разным людям разными поводами говорить о ней, восторгаться, смеяться, возмущаться, преклонять колена.

Рассказ о Поле Гогене, наверное, надо начинать с его бабки Флоры Тристан, потому что он унаследовал от нее не только внешнее сходство, но и ее характер. Кроме того, ее убеждения, жизнь, полная приключений, о которой немало говорили и писали современники, не могли не заинтересовать Гогена.

Флора Тристан вышла замуж за художника — графика, литографа. (Так что художественные интересы уже прозвучали в роду Гогена.) Все в жизни Флоры было неустойчиво, все менялось порывисто-страстно. Ссоры, семейные раздоры получали громкую огласку. Суд из-за детей, из-за раздела имущества. Она уходит от мужа, работает в кондитерской, служит горничной. Уезжает с семьей, в которой она служила, в Англию. И там меняет несколько профессий. Едет, не смущаясь расстоянием, к родственникам в Перу. Затем, побывав в Америке, Испании, Индии, возвращается во Францию. И вскоре, в 1838 году, в Париже выходит два тома автобиографического романа «Странствования одной парижанки». Она пишет «Мифы и пролетарий», статьи об эмбриологии женщины, об искусстве.

Во всем ее духовном облике можно увидеть много общих черт с Гогеном — темперамент, страсть, увлеченность, безразличие к общественному мнению, решительность в действиях, любовь к путешествиям.

Жизнь в Перу у родственников Гоген запомнил навсегда, хотя там он провел всего шесть лет в самом раннем детстве, после чего мальчика снова привезли во Францию. Его воспоминания о том времени были связаны с добротой, всеобщим семейным лаской и голубым безоблачным небом юга. Может быть, поэтому в тяжелые дни своей жизни художник так мечтал о южных странах, где, ему казалось, он сможет обрести счастье и покой.

В парижском пансионе юношу мало интересовало учение. Он мечтал о путешествиях. И в семнадцать лет против воли матери поступает матросом в торговый флот. Это был первый, по общепринятым понятиям, позор, который принес Гоген своей семье. Мать так и не простила ему непослушания. Она умерла, когда сын был в пленении. И, очевидно, в наказание по ее воле он был лишен всякого наследства. «...Что касается моего сына, — холодным слогом было написано в завещании, — то он сам должен будет сделать свою карьеру, ибо он так мало умел заставить всех моих друзей полюбить себя, что окажется совсем покинутым».

Гоген вернулся во Францию, когда ему было двадцать три года, побывав в Бразилии, Китае, Перу, а затем и у берегов Дании и Норвегии. Карьера в Париже с помощью опекуна ему удалась. Он получает златое место в банке, приобретает приличное состояние, собственный экипаж на заемств сослуживцев и слышит прекрасным финансовым деятелем. Вскоре Гоген женится на молодой датчанке Метт-Софи Гад, приехавшей в Париж на санитку. Появляются дети. В семье достаток. Что же еще надо Гоген интересуется искусством, начинает рисовать, писать, приглашает в гости художников. Жена разделяет его интерес, прощает ему увлеченность живописью — милое чудачество, приветливо встречает его новых друзей-художников. Почему же вдруг все рушится — благополучие, достаток, семья?

Один, но пламенная страсть поглощает Гогена — живопись. Краски, в сочетании которых можно выразить мысль, чувства, чистоту видения мира. Это уже слишком, это уже не могут понять ни жена, ни родственники, ни сослуживцы, ни общество. Гоген покидает службу, семью, Париж и уезжает в Руан. Отныне, по его выражению, он не будет «авторским художником».

Школой Гогена был импрессионизм, достигший в те времена своего расцвета. Импрессионисты привлекали его не только своими живописными достижениями, но и духом борьбы с салонным искусством. Ему было дорого их внимание к повседневной жизни человека. Ему, любящему небо, воздух, солнце, было дорого то, что они вынесли свои мольберты из мастерских на пленэр, стремились передать на полотне непосредственные ощущения действительности.

Начав заниматься живописью в духе импрессионизма, он находит свой путь в искусстве. И если импрессионисты, каждый по-своему, стремились анализировать красочный мир, то Поль Гоген старается синтезировать цвет. Ему недостаточно воспринять виртуозной техникой, он хочет размышлять в искусстве.

В этот период, когда Гоген вслед за семьей, беспокоясь о ней, приехал в Копенгаген, поступил снова на службу, уже не столь выгодную, он все равно продолжает заниматься живописью и пытается, порой еще сбивчиво, найти, определить, сформулировать свою эстетическую программу. Он рассуждает о цвете, форме, о линии: «...Почему мы с поминутными ветлами называемся плачущими? Не потому ли, что линия, опускающаяся, печальна?». Он пишет о благородных, правдивых и лживых линиях, о том, что с помощью линий и цвета можно передать настроение, душевное состояние человека. «Для меня великий художник — это формула небольшого разума».

Так в письмах друзьям он изложил свои мысли, чувства. А дома был ад. Жена, ее родственники презирали художника, для них он навсегда низко пал, он компрометирует их respectable семейство. От него стараются избавиться. И летом 1865 года, взяв своего шестилетнего сына, Гоген уезжает в Париж.

Но ни сейчас, ни позже в своих странствиях Гоген не обретает ни душевного покоя, ни благополучия. Он возвращается в холодную, непонятную, пустую комнату. Чтобы прокормить сына, который вскоре по приезде заболевает, великий живописец после поисков находит единственную работу — он раскладывает афиши.

«Я узнал настоящую нищету, — писал Гоген в «Тетради для Алины, своей любимой дочери (ее раннюю смерть предостало еще парализовать художнику), — так сказать, голод, со всеми его последствиями. Но это еще ничто или почти ничто. К этому привыкаешь и с некоторым усилием воли кончаешь тем, что смеешься над этим. Но что страшно — так это помехи в работе, в разности интеллектуальных способностей. Это верно, что вопреки всему страдание обостряет гений. Однако его не должно быть слишком много, иначе оно вас убивает».

«Южная Америка — вот где, кажется Гогену, он сможет изменить свою жизнь и жить, как дикарь».

Но мечты живописца о приятной жизни в Америке разбиваются о действительность, и, чтобы заработать на обратную дорогу, Гоген должен «ворочать землю с половиной шестого утра до шести вечера под тропическим солнцем и проливным дождем», роя Панамский канал, а затем занимается матросом на корабле, плывущий в Европу.

Наступают годы дружбы с Ван-Гогом, годы выставок, появление в печати хвалебных и ругательных статей... Гоген очень ждал статью Мирбо, о чем он писал жене. Главный редактор «Figaro» не хотел ее помещать, но после появления статьи в другом издании Метт ответила мужу, что статья показалась ей «до смешного преувеличенной». Так, при всех своих попытках понять друг друга они не смогли.

Октав Мирбо писал: «Я только что узнал, что г-н Поль Гоген уезжает на Тати. Он намерен прожить там один несколько лет, построить себе жилище, начать все сызнова и осуществить те замыслы, которыми он одержим. Когда человек добровольно бежит от цивилизации,



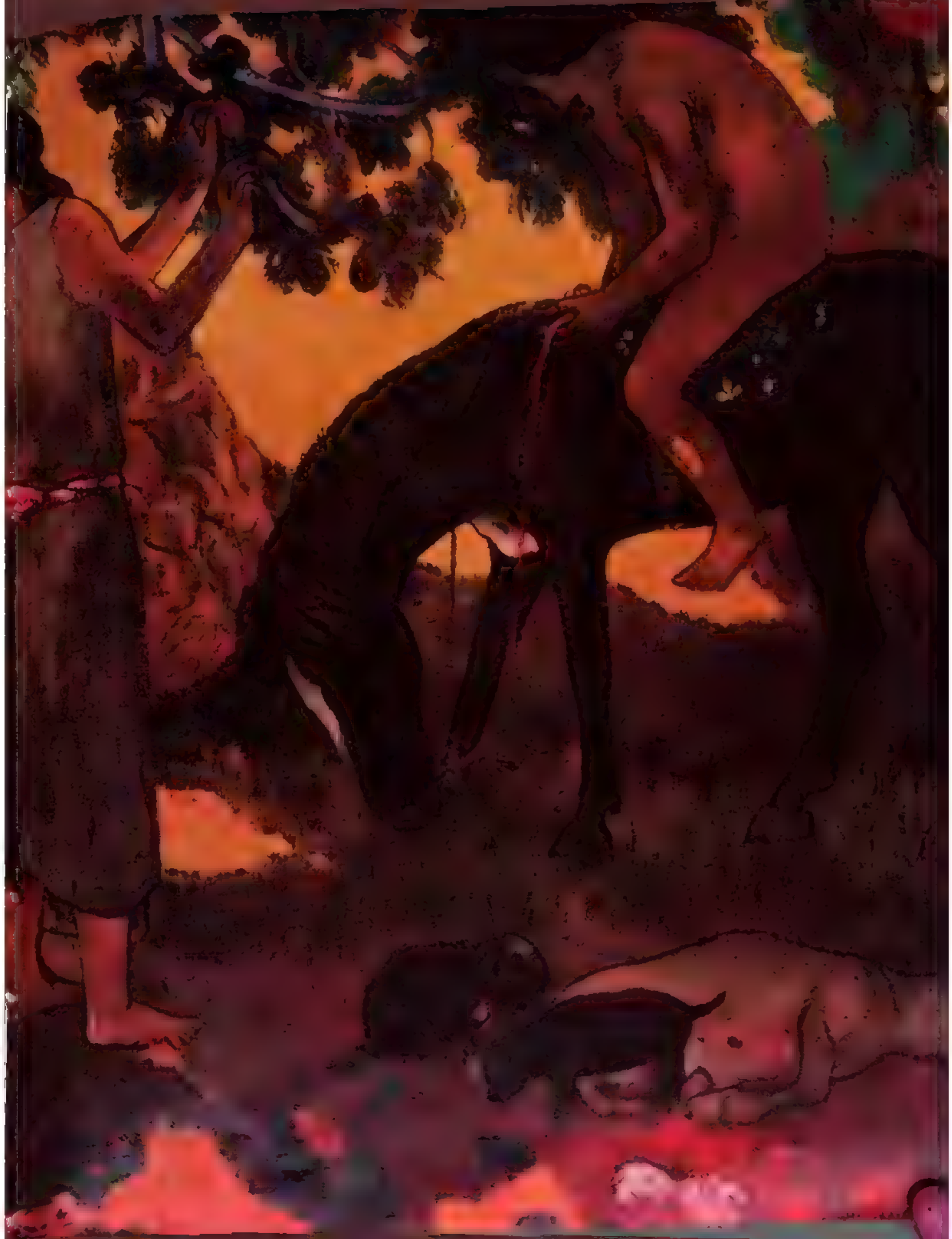
П. Гоген, 1848—1903. ЖЕНА КОРОЛЯ. 1896.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

На развороте акладки: СБОР ПЛОДОВ. 1899.

Государственный музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина







П. Гоген. НАТЮРМОРТ С МАНДОЛИНОЙ, 1885

лица забвения и покоя для того, чтобы лучше познать себя и прислушаться к внутренним голосам, заглушенным шумом наших страстей и споров,— это мне кажется любопытным и трогательным. Г-н Поль Гоген очень своеобразный, очень волюнтерский художник, который неохотно показывался публике, знающей поэтому о нем очень мало. Несколько раз я хотел написать о нем... но не решался,— вероятно, из-за сложности вопроса и боязни неверно изобразить человека, которого я в высшей степени уважаю. В самом деле, есть ли более непосильная задача, чем определить в нескольких коротких и беглых замечаниях значение искусства одновременно столь сложного и примитивного, ясного и непонятного, варварского и утонченного, как искусство г-на Гогена?

...В его творчестве есть тревожная и острая смесь варварского великолепия, католической литургии, индусской мечтательности, готической образности, извращенной и тонкой символической; есть настоящая реальность и неистовые поэтические впадения, посредством которых г-н Гоген создает глубоко личное и совершенно новое искусство—искусство художника и поэта, апостола и демона, искусство, возбуждающее боль...

Статья Октава Мирбо привлекла внимание к распродаже картин Гогена, и художник, радостный, возбужденный успехом, идет в Копенгаген повидаться с женой и детьми перед отъездом на Танты. Но радость свидания растоптана—надо выдаться с Мэтт тайком в гостиный-це, чтобы не скомпрометировать ее своим видом.

И снова настроение художника очень подавленное. 23 марта 1891 года в парижском кафе «Вольтер» друзья Гогена устраивают социальный вечер и провозглашают тост: «Воздадим должное его чуткой совести, которая гонит его в изгнание в самом расцвете таланта, вынуждая его искать новые силы в далекой стране и в самом себе».

...Танты. Он возвращается к таинственным странам, которые у него связаны с детством. Там он ищет полной тишины, простых, безыскусных отношений между людьми, свободы.

Тантские жители не понимают смысла занятий Гогена. Но они видят, что этот странный человек отдает всего себя своей работе, и крестьяне, для которых труд и беспощадность к себе были понятием, уважали и ценили одержимого пришельца. Он был в их среде своим, и мир, созданный в горячем воображении Гогена, стал быто осуществляться в неутомном естестве красок, линий, лиц и характеров.

Техура, новое существо, полюбила Гогена. Она открывала ему мир новых отношений в семье—мир покоя, уважения, дружбы. Она учила его языку, рассказывала легенды, обычаи своей страны.

«Началась жизнь совершенно счастливая, основанная на уверенности в завтрашнем дне, на обоюдном доверии, на взаимной любви. Я снова принялся за работу, и счастье поселилось в моем доме, оно подымалось вместе с солнцем, лучистым, как и оно. Золотое лицо Техуры заливалось радостью и светом внутренности жилья и весь окрестный пейзаж. И мы оба были такими совершенно простыми».

Гоген в каждой картине старается найти новые пластические эквиваленты необычной красоты природы. Его радует творчество. Но и в этом полупридуманном мире его догнала отвергнутая им, но мстительная и беспощадная действительность. Нет денег, а следовательно, холста и красок. Его должники в Париже не торопятся ему помочь. Гоген пишет Серюзе: «...мои полотна путают меня. Никогда публике не примет их». В марте 1892 года художник в письме к Монфрейду рассказывал: «Я был очень серьезно болен. Представьте себе, я выплывал по четверти литра крови ежедневно. Остановить ее было невозможно... Врач здешней больницы очень волновался и считал, что со мной все кончено. Он сказал, что легкие у меня здоровые и даже крепкие, но сердце сыграло со мной скверную шутку. Впрочем, оно перенесло так много ударов, что ничего удивительного здесь нет».

...Возвращение во Францию было несчастливым. 3 августа 1893 года Гоген сошел с корабля, на котором во время пути от жары умерло несколько пассажиров. В карманах у него было четыре франка на телеграмму друзьям о помощи.

В Париже Гоген собирает все силы для предстоящей борьбы. Устраивает выставку привезенных с Танти картин.

В рецензиях можно было прочитать: «...Чтобы развлечь своих детей, пошлите их на выставку Гогена. Они позабавятся перед раскрашенными картинками, изображающими четвероногие женские существа, распростерты на бильярдном столе...»

Два года прожил во Франции Гоген, но они не были счастливыми годами. И снова Гоген уезжает на Танты. Меньше стало надежд, немножко меньше мужества, и только великодушная сила художника осталась до последних дней его жизни. Бывали минуты отчаяния, которые прорывались в письмах: «Сегодня я повержен на землю, беспомощный, наполовину уничтоженный борьбой, не получаю даже благодарности, которую я заслужил. Я на коленях отбрасываю от себя всякую гордость. Я только неудачник...»

В письмах звучало отчаяние. Но в живописи его—нет. Сказочные краски, мягкий влажноватый воздух, роскошная природа и тропическое солнце. Все это улачивало художника, и он был счастлив в своем творчестве. Он мало кого любил. Может быть, о нем можно сказать, что он никого не любил. Любовь к искусству поглощала все чувства, которые возникали в этом неутомимом сердце.

Умирал он очень тяжело. Французские власти на Танти, преследовавшие его при жизни, глумились над ним и после смерти, расправляясь с его художественным наследием. Незажившие чиновники продавали его картины, скульптуры, деревянные рельефы с молотка за бесценок. Жандарм, который проводил аутиком, сломал на глазах у собравшихся людей резную трость Гогена, но припрятал у себя его картины и, вернувшись в Европу, открыл музей мастера.

Вся жизнь художника была битвой с мажорством, с установившимися взглядами, с предрассудками... Он всегда проигрывал, но никогда благодар своей одержимости не сдавался, ему нечего было жалеть и нечего терять, ибо то, чем он жил, могло погаснуть только с жизнью.

Величание любви

Мустай КАРИМ

* * *

Багрец кровоточит листья отторкалой,
И, раны как будто бытуз вдоль рек,
На черную землю снег сыплется белый,
На старую землю—молоденький снег.

Всему своей черед.

И хранит наша память
Извечные образы смены времен.
Не поздно, не рано на желтую землю
Слетает забвения белого сон.

Легко мне, и мыслей спокойно течение,
И ясность сошла на меня с высоты.
От глупых надежд подлился отречения,
Я больше не верю в пустые мечты.

И точно такая, какой она мимлась,
Весть добрая в срок постаралась прийти,
Прошедшего горя вдруг понял я минимость,
И словно оно заблудилось в пути.

К плодам, не срывая мня которых отныне,
В слепом искушении рук не таяу.
Удачный всадник промчится к вершине,
Без зависти тайной вослед я загляну.

Годами не стар и годами не молод,
Достоин я возраста наверняка:
И в меру мой пламень и в меру мой холод,
Слеза в самый раз и сладка и горька.

Все просто, а в этом могу убедиться:
Вот снизу земля, а сверху небосвод.
На дравном пашню снег юный ложится,
На черную пашню снег белый идет.

* * *

Семь дней недели—семь свечей,
И при свечках медовых лунах
Все самые серебряные ночи
Вновь на сами играют струнах,
Когда я в стороне родной
И ты, любимая, со мной.

Мой день—черная палача,
А ночь—погасшая свеча,
Когда опять ты далека,
И мне чужбина палача.

* * *

Молод был я гордый, словно беркут,
И, не опуская вольных крыл,
В пору звезд,

которые не меркнут,
Пред любовью голову клонил.

А любовь, что прозвана земною,
Осваивала удалю крыла,
Но в пути, оставив за спиною
Тучи пыли, молодость прошла.

На склонюсь я перед пророком,
Но, бывшему преданный огню,
До сих пор еще в пылу высоком
Пред любовью голову клоню.

У горы к зиме садает тая,
У ослабших крыльев режа взмах,
Стану старым, и наступит время
Мне в своих показаться грехах.

Но когда на лик мой лягут тени
Дней посланных, отходящих дней,
Пред любовью я склоню колени,
Чтобы смерть заволокла ей.

Перевел с башкирского
Яков КОЗЛОВСКИЙ.

ГРАФСКАЯ КУХАРКА

Софья Ермолаевна оказалась редчайшей хозяйкой. Она с полуслова понимала мои мысли, горячо поддерживала наши комсомольские затеи. Ни разу не обмолвилась и о том, что нужны деньги для моего питания, да и своих племянника и племянницу поддерживала.

Я нередко задумывался над тем, на каких средства она существовала. Не с огорода же, возле хаты, в котором было две-три грядки огурцов и лука, крохотная делянка под буряки и картошку!

Немного просветил меня на сей счет Михайло Неборака.

— Она же дужа справная стряпуха. Еще самой графине стряпала. Ну, и зараза, где какая свадьба, престольный праздник, молотье, без бабы Соньки не ладится. Оттуда сапешмат, оттуда мильце кобасы да еще грош...

Однажды, вернувшись неожиданно из соседнего хутора, я застал Софью Ермолаевну возле печки за швейной машинкой.

Она необычайно смутилась, красна залила ее лицо.

— Ца я ради удовольствия. Шоб не забыть.

Это были дни, когда, как мне легко было понять, у Софьи Ермолаевны было туто с продуктами, готовила она преимущественно картофель в мундире, с растительным маслом пшеничную кашу, а то и просто резала лукницу, поливала маслом и присаливала. Все это меня ничуть не угнетало: бывали дни, когда я питался намного хуже, а то и люто голодал.

Софья Ермолаевна ни на что не жаловалась, но на нее было жалко глядеть, как она переживала наше безденежье. Она даже как-то постарела и осунулась. Я не вытерпел, сказал ей как-то:

— Софья Ермолаевна, голубушка! Что вы так страдаете из-за наших харчей! Мы же не голодаем.

— Если б я стряпать не умела,— подрагивая бровями, откленилась она.— Такиим блондами господ кормила...

Это был любимый конек бывшей графской кухарки, и я решил его подстегнуть:

— Что старая графиня любила?

— Рагу из баксов любила, фрикасе из ягненка или судака... А больше всего — фрикасе из голубей. И всегда говорит повару: «Пускай мне фрикасе Сонечка приготовит». Ну, а повар ей жардиньер или голяшка филе с корюшонками готовил... Фазанов, татарева еще или куропатки серые...

Мы начали ремонтировать флигель. Организовали драмкружок и стали разучивать «Шельменко-денщика». Я задерживался допоздна. Софья Ермолаевна никогда не укладывалась спать, не дождавшись меня.

Как-то она сама чистосердечно призналась: — Когда живешь, что есть для кого, приемно и раньше есть, затопить печь, прибрать хату, поухаживать...

Больше всего она любила, когда я приходил пораньше и, пристроившись возле сундука, у акашей керосиновой лампы, писал или читал. Она взбиралась на горячую печку, ложилась на спину, закрывала глаза и о чем-то молча думала. Если же я раскрывал стеник-пачету или что-нибудь клал для будущего долуба, она, облокотившись на руку, оловохотливо выкладывала сельские новости. Они были незначительными. А знала она все: кому парубки ворота детем вымазали, кто сегодня самогон топит, у какой вдовы застал чужого мужа, кто поссорился, кто перепил, забил бычка на продажу, где собираются девчата на досатки...

Чернее за окнами осенняя тьма, лениво потаекивал соседский пс Баласа, который добровольно опекал и нашу хатенку. Было тепло, уютно.

— Вы всегда жили одна? — спросил я однажды. — Своих детей у вас не было?

Софья Ермолаевна засмеялась как-то странно, неловко:

— Вам, верно, наплели уже про меня!.. Лучше сама скажу... Три дочки у меня были — Вера, Надежда, Любовь. И я — их мать. Софья...

Она взяла меня в угол, на боковину, и я только сейчас обратил внимание на то, что среди образов выделялась икона в позолоченной ризе — святой великомученицы Софьи — и перед ней висела лампада рубинового стекла. — Господь всех прибрал к себе. Даа и до года не дожили. Все они, дети, у меня на одиннадцатом месяце начинали ходить и говорить... Младшенькую господь прибрал к себе, когда ей было уже двенадцать лет.

— Муж умер!

— Двое померли, один жив...

— Как это? — вырвалось у меня.

— А у меня их три было. Молода, глупа была. Дочка на мою фамилию записана. Из батки были женатыми... А мое дело было девичье.

Допытываться, как и что, я не считал тактичным, но Софья Ермолаевна очень просто и доверительно продолжила разговор сама:

— Не подумайте, что я с кем пошло ночевала. Только с интеллигентней... У старшенькой батка был графским пономем... Вторая дочка — от псаломщика... Ну, а меньшенькая, Надя, вы ее батки видели.

— Кто это?

— Кирилл Иванович. Дужа я хотела своих детей, а графиня меня замуж не отпускала...

— Вообще как вам у господ жилось?

Софья Ермолаевна протяжно и глубоко вздохнула:

— Я еще девчонкой стала служить в господском доме. Дали мне чуланчик, рядом с кухней. Мас у батка с матерью сама душ было. Отдали меня на кухню, я свой живот надирывала, кастрюли и чугуны с плиты таскала. Есть такая песня: «Добре тобі, тату, задатокки брати! Прийди, тату, подивися, як их заробляти...» И далі: «Ты думаєш, тату, що я тут паную? Прийди, тату, подивися, як я тут горюю...»

Софья Ермолаевна вдруг умолкла и, покосившись на печь, я угадал, что она вытирает рукавом кофточку слезы.

— Кто себе палаты нажил из дворовых, а я одну швейную машинку «Зингер», да два старых платья своих графиня подарила.

— Кто же из дворовых мог палаты нажить?

— Ого! Экономку взяла. И сама блудничала и молодому графу двачат подкладывала... Ну, ладно! Это — дело прошлое...

— А вы расскажите, интересно.

— Сын графини, Ирма Карловна, красивый, а до женского полу любитель, не приведи господи! Графиня нигде уже не выезжала, а когда день ее рождения бывал, набивалось знати той — и генералы и господа Лопухины, Бродские. Лежен с галунами появлялись. Ну, сынок графини на день ангела беспрерывно приезжал. Бывало, на все лето или на рождество Христово. Тут уж графиня для него ничего не жалела. И охоты делала большие, и если дичина из села какая, что через окно ночью до графа сигна, с малым дитем оставалась, одаривала, замуж выдавала... Сколько, рассказывали, он так именной прогулял и пропил! У них же не только в Богодаровке...

— Богато жили ваши господа!

— Не спрашивайте!.. Нагладелась я... И каретный серый был и отдельно лодская, поварская. Кроме повара, три стряпухи было. В доме кругом колонны, ковры, картины, люстры... И посуда хрустальная и пальмы в кадках... Одних... этих... фортепиано было три... Одно и зараза в школе стоит.

— Куда ж все это богатство девалось?

— Спалили же замок. Разграбили. Наделю порел. Больше поломали, побили... Я после нажилась в городе в няньки. Мошет, слышали: Сухальский! Вальцовая мельница у него была, шесть этажей. Сгорела.

— Видел.

— Тут моя сестра заболела и померла. Приехала я за племянниками глядеть. И осталась...



Все свободное время я находился во флигеле. От сельсовета никакой помощи мы так и не получили, но дядько Олекса приволок из дома фугенку, пилу, стамески, несколько хорошо высушенных досок (казаймы), а двух комматок уже застеклили. Михайло Неборака почистил печи и затопил.

Нужно было поехать в район, выехать в райисполком лес, обои, материал для штор и занавесей. Но на свиданье я простудился и слег. К вечеру был весь в огне, бредил, всю ночь меня одолевали кошмарные сны.

Мне видался Самойленко и Дзюба, которые сапогами топчут стекло для окон и, глядя на меня, хохочут. Софья Ермолаевна, очень беспокойная, не отходявшая от моей постели, поздно рассказывала, что я кричал что-то и никак не мог очнуться.

Болезнь длилась четыре. Неугомонная Софья Ермолаевна несколько раз навещала меня в сельраду, к Дзюбе, требовала привезти врача, дать угля для топки.

— Аспид беззюгий! — ругалась она, придя домой. — Доктора я так и не допросилась, а угля, сатана лысая, дал — на пять дней хватит, не больше.

Видимо, развлекая меня, Софья Ермолаевна извлекла со дна сундука подарки графини — два бурнуса с черным стейларусом.

— Чему же не носите! — спросил я.

— На сядто надену. Как та мартышка. Я достала, может, для спектакля.

Она разругалась, и я, глядя на нее, подумал, что она была в молодости красивой. Вечером пришел навестить меня Михайло Неборака.

— Лежи спокойно, выздоравливай, — сказал он. — Окна все уже дядько Олекса застеклил и вставил. Достали с хлопцами дрова, пропеливаем, тепло! Кирилл Иванович наведывался, помог нам две репетиции провести... Теперь осталось полы подремонтировать, стены оклеить, скамейки достать. Ламп хотя бы штук две-три...

Я облизывая спешные губы, отвечал чуть епикшине.

Мне хотелось высмеять Самойленко, сказать ему все в лицо, но он не появлялся. И я изобразил его в комсомольской стенгазете.

Уже собирался прощаться, Михайло нахально взглянул на хозяйку, на меня.

— Не все новости я рассказал... В Солонцеватом вчера ночью секретаря партиячей зарезали. В Пшеничном почту огребили, почтаря застрелили. Все в одну ночь. И люди рассказывают, может, и брешут, что приезжали эти убийцы на бричках, кони у них добрые, а сами одеты в шинели, картузы на них одинаковые...

— Да, может, люди и сбракали, — деланно,

беспечным тоном говорила Софья Ермолаевна, заслонив от меня Михайла и делая ему какое-то знак.

Лишь окончательно поправившись, я узнал, что сказали мне тогда не все. Под большим селом Доброводы, верстах в пятнадцати от нас, в ту же ночь нашли в кустарнике зверски растерзанного секретаря комсомольской ячейки. И, как рассказывал мне Иосиф Баренбойм, ходивший в Доброводы навестить свою родную тетку, на спине у комсомольца бандиты выжгли пятиконечную звезду.

Дзюба нарядил для меня по дежурному списку в район пароконную повозку, и я по утреннему морозцу быстро добрался до городка, миновал собор, пустынные в это раннее время сады и рынок и, никуда не заезжая, слез у райкома комсомола.

На счастье, секретарь райкома, мой закадычный друг Митя Руднев, уже был на работе. После взаимных объятий, похлопываний по плечу Митя сел рядом со мной на диван, озабоченно сказал:

— Хорошо, что догадался приехать... Очень нужен нашему батьке, хотали даже за тобой райисполкомовскую бричку посылать.

Батькой мы, комсомольцы, звали Василия Харитоновича Баглая, елизаветградского кузница, командовавшего нашим чоновским¹ отрядом, а теперь замещавшим по службе председателя райисполкома. Огромный ростом, страшной физической силы и редкой зрелости, он был кумиром комсомольцев. Все в нем подкупало: добрейший характер, внешняя грубоватость, твердость, даже жесткость в те минуты, когда он, бывший прославленный партизан гражданской войны, приобщал нас, безусых, необстрелянных парнишек, к первым схваткам с кулацкими бандами, вислое, как у Тереса Бульбы, седые усы его, — все нам в нем нравилось.

— Сейчас мы с тобой сходим к нему, а пока получи кое-что.

Он исчез в соседней комнатке. И спустя немного вернулся с Катей. Она, раскрасневшаяся и лано смущенная, поздоровалась, не глядя мне в глаза, протянула ведомость.

— Распишись. И пересчитай!

— Что это?

— Выколотила вам поимному денюжат, — доволно сообщила Митя.

¹ ЧОН — часть особого назначения.

— Откуда?
— На твоё дело. Растискивайся. Двести рублей... С Катей потом любезничайте... Видишь, полыхает дичина.

Митя ухватил меня за собой на второй этаж, где размещался райисполком, без стука зашёл к батюке.

— Ага, приехал! — Василий Харитонович стиснул мне руку, подошёл к двери и замер.

— Самойленко, ашего голову саларады, давно видел? — спросил он, усаживаясь на место.

— Давай. Неделю два.

— Он может ещё позависеть в Богодаровке. И ты обязан немедленно дать нам знать. Больше надеяться на него. Дошло до тебя?

— Дошло.

— О разговорах нашем молчок.

— Дошло!

— Дошло.

Поворнувшись к Мите, он сказал, видимо, продолжая какой-то разговор:

— Серьёзное сотрудничество кулачка кончилось... У большинства саян желание заняться своей земелькой, а вот таме ещё колбродят. Ему можно сказать? — Он юкнул в мою сторону. — Умеет молчать?

— Парень надёжный, — сказал Митя, подмигнув мне.

— Баба перехватила комплект обмундирования и вооружения. Теперь под видом чекистов безобразничает... Самойленко исчез, это подозрительно.

Я рассказал о своём последнем разговоре с ним, о том, как он издевательски отнёсся к моей просьбе о помощи комсомольцам.

— Надо помочь, Василий Харитонович, — сказал Митя.

— В чём нужда?

Я извлек копию списка, оставленного Дзюбе. Батюка надел очки, шевеля губами, стал читать.

— Ласу дадим... Обоим на складе сколько хочешь, зайдя и отбери. Стульев полсотни пришло на той неделе. Больше не могу. Пятьдесят матров мануфактуры! Можно. Ламп десять! Надо посмотреть. Платок найдём. Все!

От счастья я не знал, что и говорить батюке. Он долго и неумело писал что-то на уголке моего списка, а Митя, понизив голос, сказал:

— Пойди смени Катю, пусть поможет тебе все это оформить.

Батюка наконец упрямился с трудной для него канцелярией, как он иронически говорил, и, протягивая листок, напомнил:

— Клуб клубом, дело нужное, ну, а насчет Самойленко гляди в оба.

Катя меня ждала в райкоме и с удовольствием принимала подарки.

— Мы к тебе на открытие клуба всей ячейкой приедем.

— Приезжай!

— Одна я не приеду. Что скажет твоя зайка?

Возвращаясь к Богодаровке с чувством, каясь, по-видимому, знакомо только младшему. В повозке лежали два тюка мануфактуры, тщательно упакованные керосиновые лампы «молния», большой сверток обоев.

Дома я передал Софью Ермолаевну купленную для нее кофточку и отдал деньги.

— Да не что нам столько! А за кофточку спасибо!

Софья Ермолаевна предупредила меня, что вернется поздно.

Но вернулась, когда я еще не спал. Плотно заперла двери, задернула занавески на окнах.

— Помогала поповне и ее работница кушавить. Завтра у них большая гулянка. Ждут Самойленко. Провертела мясо через мясорубку в закуточке, обо мне и забыли.

Мне надо было немедленно добираться до района. Больше никому. Ходили показывали седьмой час вечера. Чем добираться?

— Пойду пешком. За три часа дойду.

— Куда! Туман, распутица. У вас чоботы текут. А ну, подождите...

Она быстро ушла, вернулась не скоро. Потом встала в зату, довольная и энергичная.

— Выпросила у Кириха, племянника, коня. Везом поезде. Только он просит, чтобы ночью и назад.

Кириха боялся. Он вошел с закуточком горлом, опухшими, красными веками, в труза, надвинутым глубоко на уши.

Было ему под тридцать, но усы и борода не росли.

— Вы когда-нибудь ездили верной? — спросил он окрикнув голосом.

— А как же! — обиделся я, не распространяясь о том, что ездил еще в детстве, в ночное, и то немножко.

— И сядет ниту, — мыл и юлил бедный Кириха.

Я понимал, как ему не хочется, страшно отдавать своего единственного коня в чужие руки.

— Седло сделаем, — сказала Софья Ермолаевна. — Подушечку подкладываем, веревочные стремяна, седло будет, как у того черна-обыздника.

Кириха черкнул серпиком, зажег лампу елетучая мысль, скрепя сердце повел нас к своему сараю. Софья Ермолаевна поддерживала фонарь. Кириха наклонил на рослого, постылого мерина узду, вывел его из хлева.

Мерин, старый, лохматый, косматый, шел за хозяином, поминувшим жидким хвостом.

— Стой, черт!

«Хорошо, что я на таком рослянке хоть ночью приеду в райцентр. Никто не увидит, — подумал я, глядя, как Софья Ермолаевна с племянником мастерят мне седло. — Проходу не дали бы...»

— Не забудь его напоить, — жалобно делал последнюю напутствия Кириха.

— Это обязательно!

— И хожу ему не сбейте.

— Все будет в порядке, — успокоил я, попросту не зная, что означает «набить хожу», чем ее набивают...

Меня в данную минуту больше всего беспокоило, чтобы выехать из села незаметно, чтобы меня никто не узнал. Да и Кириху лошади толка.

В окошках хат уже светились огоньки, припустил дождь. Как же мне сейчас не хотелось ехать! Недоброе предчувствие угнетало меня, когда я смотрел на мерина, сонно развешившего косматые уши.

Очень было неудобно мне ехать, а мой мерин даже не пытался скрыть от меня, что и ему не хочется никуда из села выбираться. Густой ветер бил в лицо мягкой водной пылью.

Дорогу я помнил. На выезде миновал два заезда, и тотчас же навстречу попался обоз воловьих запряжек. Заучено чоканье бычьих копыт по грязи, медленные возницы в кобылках.

Справа от меня в сумрачной полосе тумана темнели смутные силуэты холмов и кустарников. Дождь, который начал сыпать еще в селе, вдруг сменился мокрыми хлопьями рыхлого снега. Он бил в глаза, ослеплял. Я уже не знаю, еду ли по дороге или жонглирую. Какое-то птица, ночевавшая в явешках, неожиданно взмывала с пашки. Мерин мой шаркался в сторону, нерасторопно поднимал уши.

Темнота ватреной, сырой ночи обступала меня со всех сторон, но я знал, что справа недалеко начинались густые леса, а чуть дальше, возле степного кургана, нужно взять левее, на большой шпал. Отсюда недалеко был глубокий, заросший кустарником яр, где мы прошлым летом в отряде батюки столкнулись с бандой, долго перестреливались, но бандиты от нас ушли хорошо известными им лесами.

Сейчас на той стороне стояла предостерегающая тишина. Доносился только тревожный шум тополя и вербы.

Очень зримо было воспоминание о том, как мы, базусые юнцы, страшно хотели отличиться в глазах батюки, показать ему свою безудержную храбрость, за что, кстати, получили от него суровый нагоним.

Неожиданно мерин стал, скользя, спускаться куда-то в низину. На дне пологой балки в разлесье петляющую речушку, туда и направлялся запряженный мерин на водопой, чавкая по грязи, шевеля ушами; он хотел пить, тангулся мордой к журчащей воде, а я не знал, можно ли его сейчас поить.

В эту минуту сквозь облака проглянула луна, стало светлее, и вдруг я увидел сбоку, в камышах, двух всадников в темном. На лбу и

на спине у меня проступили испарины: «Засада!»

Из всех сил я стегнул мерина, ударил его каблукми сапог, но он лишь вертелся на месте. Я полез в кобурку за своим пистолетом, решил, что хоть единственный выстрел я успею сделать, если на меня нападут бандиты. Превид, малькинула мысль о том, что, если я и открою пальбу, помощи здесь ждать не от кого. Всадники стояли на месте, не двигались, но у меня было обидное ощущение бессилия из-за того, что мерин окончательно заупрямился и стал поворачивать назад.

Луна совсем очистилась от рваных облаков, стало еще светлее, и я вдруг, еще не веря себе, увидел, что вместо всадников лежат два спавшие коряги.

Я смахнул рукавом шиваши пот со лба, надевался над собой, яростно нахлестывая ни в чем не повинного мерина, который вдруг припустился какой-то странной, ковыляющей рысью, и вскоре выбрался к линии телеграфных столбов, на большак. До чего же милым и успокаивающим показался мне однотонный гул телеграфных проводов! Мерин теперь рысью уверенный.

Вскоре я увидел отражение зарева в низких тучах: в той стороне был сахарный завод, на котором я бывал с друзьями-комсомольцами.

Путь мой лежал через железнодорожную линию, он был закрыт шлагбаумом, мимо меня с шумом прогрохотал ярко освещенный пассажирский поезд. Он шел на Одессу, и по времени я понял, что сейчас восемь часов с минутами.

В город я въезжал со стороны вокзала. Все же я очень привык и очень любил свой провинциальный глухой городок, где вырос, закончил школу, вступил в комсомол. Все здесь было близко, знакомо: редкие фонари на улице, обсаженной по обе стороны великанами-тополями, разбухшие от влаги, почерневшие деревянные скамейки в городском сквере, где мы любили собираться; громада тонущего в тумане собора, торговые ряды, где устраивались шумные, яркие, многолюдные ярмарки. Сейчас всюду было пустынно, магазины закрыты.

Только одно здание с большими окнами было ярко освещено. Это был педтехникум, в котором я успел проучиться всего год. Я догадался, что там сейчас идут репетиции студенческого драмкружка, свисток хора. Светилось два окошка и в здании райкома.

Мимовольно припомнив тамное здание солдатской казармы, городской плац, я поехал на квартиру к батюке. С наслаждением сполз со своего мучителя, памятуя строгие наказы Кириха, поводя его за поводок возле дома, затем вошел во двор, привязал к столбу и постучал с черного хода.

Батюка сидел в столовой с бывшим пулеметчиком нашего чонковского отряда Артемом Шумиловым: они ели лапшу с молоком.

Ничуть не удивляясь моему появлению, батюка позвал Шумилова, и тот достал из буфета миску, налил лапшу из кастрюли и мне.

Ели все молча, и лишь когда Шумилов начал возиться с чайником и стаканами, батюка, положив крутые руки на стол, спросил:

— Что доброго снахнешь?

Я рассказал о предполагаемом завтрашнем посещении Самойленко поповского дома в Богодаровке.

— Ты на чем добрался?

— Вверхом, — сказал я, стараясь придать своему голосу как можно больше сиромости.

— Кто знает, что ты сюда уехал?

— Никто.

— Конь чай?

Я и на это ответил.

— Поморнил?

— У меня нечем.

— Артем, попейшь чаю, а табя прошу, отведи его рыска на нашу конюшню. Пусть ося дадут, напоют... Он снова обратился ко мне: — Ты сегодня обратил? Здесь ни к кому не звезде!

— Нет.

— Молодец! Порядок знаешь. Как твой клуб? Все у нас получил!

— Большое спасибо, Василий Харитонович. Дело наладилось.

— Ладно! Отдыхай. Я еще пойду в райис-

полюком. А ты прилетай вон на мою кушетку. В Богодаровка ничего никому. Понял? Если по-
кажется Самойленко, его, голубчика, такон-
ко возьмут.

Уехал я из города уже в двенадцатом но-
чи. Туман исчезал, снегом все выбелило, вы-
звездило, подмораживало. Марин шел бодрее,
увереннее, но добрался я домой поздно.

Софья Ермолаевна не спала, а лежала на
лежанке, не раздеваясь.

— Ну, аж звездец! — с живой заинтересо-
ванностью спрашивала она.

— Дужа добре, — сказал я, умолчав, что
ноги мои жутко гудели, на ягодицах я ощущал
осадины, ныли позвонки.

Софья Ермолаевна прижалась хвостом к у
печи, а я вышел одеть марина Кириуха. Тот
тоже не спал. Безбородое, безусое лицо его
еще больше пожелтело.

Он резинкой провел ладонью по потной шее,
по крупе марина, сумрачно сказал:

— Набили все-таки ему золку. Вон шеечка
красная!

— Эх, Кириуха, Кириуха! — только и мог я
пробормотать, ваяясь с ног от усталости и
перевороженного...

Проснулся я поздно, а зате никого не было.
Я сам достал себе из печи завтрак. Когда
появилась Софья Ермолаевна, я тихо спросил:

— О Самойленко ничего?

— Должен сегодня подъехать. Я с рынка
туда сматываюсь, вдвоем с работницей кое-что
еще стрельну. Ждут они гостей...

За ночь морозец подсушил грязь. Я, как и
всегда, перекусил, поспал воя фляжечку. Здесь
были и Миша и Никита, несколько девочек.

— Вот и тор пришли записываться, — сказал
Наборная, поймал одну из девочек и довольно
бесцеремонно потискал ее, что, к слову ска-
зать, ее несколько не смущало.

— На рождество нельзя ставить спектакль, —
заметила Никита. — Сорвут всю кампанию. По-
напугаются.

— А когда?

— Лучше на святой вечер.

Решили открывать клуб в ночь перед ро-
ждеством. Из города в этот день привезли
стулья, лампы, аксельиты.

Они были уже уставлены, печи вычищены,
и Михайло затопил их. Шел дым, было утшно,
стоял терпимый запах стружек и столярного
клея.

Во время обеда я узнал, что Самойленко не
было, но, может, подъедет к ночи.

— Никого из города чужого не видели? —
спросил я.

— У дядьки Крамаренко Хведора быль, мо-
жет, и зараз гуляют... Два милиционерских...

Вечером была объявлена опека хора, де-
вчат пришло много, сердце мое радовалось.

В салу пекли, жарили, потпили, варили, па-
хло пальной святой цветиной. Бабы бегали, оза-
боченные, по двору с ведрами, тазами, коры-
тами. Год был урожайный, хлеба собрали мно-
го, и я подумал, сколько неварят омухи. На-
фаршировали домашних колбас — и кровяных
и с прачевои кашей, наварили холоду, на-
потпили окороков.

На ошмбся!

Ночью меня вызвали в салару: тут же си-
дели в полушубках милиционерские.

— Есть бумагом из рика, — сказал Дзюба. —
Тут перед престольным будут много горилки
пить. Одна милиция не справится. Райвоен-
ком пишет, чтоб комсомол помог.

— Это мы сделаем. Надо дежурного послать
за хлопцами.

Дзюба сунулся, стуча по полу деревян-
ной. Стали подходить мои ребята, отряхиваясь
от снега.

К ночи сильно подморозило, повадка густой
снег, разыгралась зыбга.

— Это даже лучше, — сказал Наборная.

Мы пошли вдвоем с Михаилом, третий —
милиционер. Балая крутящаяся мгла была нам
на руку. Всмотревшись в дыма. Надо было
я крошечным аду разглядеть слабый дымок.

— В селе еще ни разу не трусили само-
гонку, — сказал Михайло. — Так что люди не
путаны.

Около большого дома, обсаженного голы-
ми сейчас тополями, Михайло остановился, те-
ло ошмбся!

— Тут!

— Видеешь?

— Нет.

— Над дымоходом. Дымок.

Собака забилась от пуги под крыльцом,
лазая оттуда зло, неохотно.

Постучали. Открыла хозяйка и с мгновением
намогла двинуться с места.

В очень холодном, неотапливаемом зале —
бочки, мешки с зерном, сулян с подсолнеч-
ным маслом. И куб работал вояко, две чет-
вертные бутылки зелья были уже полны.

Хозяин, в исподней рубахе, валенках, по-
кашлявая в кулак, отмалчивался. Лютовала хо-
зяйка. Сначала она стояла у печи, а когда ми-
лиционер присел у стола составлял акт, она
стала бросаться на шею к Михаилу.

— Михайло, ты ж свой! Не обижай! Хлоп-
цы, возьмите себе по четверти, да и разо-
дмесь тишином.

Принесли хозяину надеть тулуп, а звалить
куб на плечи, мы взяли самогонку и, на обра-
щая внимания на вопли жены, пошли в салару
— сдавать Дзюбе улик.

В эту ночь накрыли еще трех самогонщиков,
и домой я попал далеко за полночь. Горели
от мороза уши, нахолодавшие в юфтовых са-
погах ноги я попросту не ощущал.

Сразу полых на горячую печь. Думал о том,
что оперирую с Самойленко спугнули наст-
ти похитившиеся в селе милиционерские.

Софью Ермолаевну очень интересовало, у
кого азалл водку.

— Челобитыко, первый богач.

— Быль.

— Я вам еще назову те дворы, которые пу-
ладом: Смаглюк, Скробот, где вы квартиро-
вали... Да и Дзюба Яшина не беднячок... А у
Ядодохи Коньки не были?

— Что это: фамилия?

— Прошвица. Муж ее коня когда-то украл,
его самосудом убили, а она «Конькова» и «Ко-
нькова». Первая самогонщица. На продажу го-
нит.

— Доберутся.

— Считайте, у каждого из них родня, светля,
хрюкель... Это ж завтра будет зме...

— Пускай!

Когда я проснулся, Софья Ермолаевна, за-
гадочно улыбаясь, достала из-под кровати до-
вольно крепкие, но уже носившие валенки:

— А ну, мерьте.

— Откуда они?

— Наваяно, мерьте.

Они оказались чуть великоваты.

— Соломен или санца трошки подложим, и
будет дббре... А цо вам рукавицы. Ярина за-
зала, пламяница.

Я стал настаивать, чтобы она назвала мне
цену, но она сказала:

— Вы мне подарунок сделали, а я — вам...

Она затянула льдом, хата остыла за ночь.
Софья Ермолаевна внесла огромную охапку
назолдавшей соломы, затопила. Гуляко загу-
дело в печи. По лицу Софьи Ермолаевны бро-
дили мелко-красные отблески, полосы крас-
ного свате.

— Нет, Коньку треба подловить, — сказала
Софья Ермолаевна, отклоняя от жара лицо. —
Это ж продажная душа. Спекулюха.

— А Емельян Челобитыко и другие гонят
вадрами только для себя?

— Забыла вам сказать. С Челобитыко ниче-
го не возмать. В салараде окно разбито,
шкаф поломан, где его водка стояла, все бу-
тылки забраны.

— Откуда вы знаете?

— Бегала в село. Это Дзюба дядька Емеля-
ну помог. Они ж своики...

И вот пришел сочельник, день нашей лю-
бительской премьеры. Утром, как только я
протер глаза, Софья Ермолаевна торжествен-
но вручила мне коробку папирос «Саван» и
кусоч душистого туалетного мыла «Москвичка».

— Капитанов болящих у меня нету, но у вас
такой сегодня день!

Ярко светило солнце, трещал мороз.

— Святой вечер! Сегодня мальчишки пойдут
по хатам с бумажными рождественскими звез-
дами колядовать. В детстве этим любил за-
ниматься и я. А вот сегодня вечером я держал
экземп.

— Людей полно будет, — успокоила Софья
Ермолаевна. — Меня лютонки в клубе многие
спра...

На ошмбленных улицах, подметенных и рас-
чищенных, ходили группами по два-три чело-
века в ладной одежде, празднично настроен-
ные; стайками прогуливались девочки в пуши-
стых зимних платках, ослепительно сверка-
ющих головках.

Зашел в гости Кириуха. Он тоже одялся в
праздничное: новый пиджак поверх расшитой
красными и черными крестиками рубахи из
грубого домотканого беленого полотна, а на-
чищенные ваксой чоботы. Щелкала тыквенные
скалки.

Незадолго до начала спектакля я пошел в
клуб, народ уже стал собираться, заведущая
дворца усадила крылечко, заняла места у
окоп.

В сочельник, или, как говорят украинцы, на
голодную кутлю, у Максима Скробота ждали в
его добротном вместительном доме гостей, а
точнее — гостей.

По закону, в святой вечер людям веру-
ющим, пострадавшим было положено обойтись
кутью из ячменной крупы и взваром из су-
шеных фруктов. Но должен был приехать сам
голова саларады Самойленко, и Скробот ска-
зал своей тушкой, заплышкой жиром жана Ге-
рши.

— Святой Николай-угодник нас, грешных,
простит, кутлю и взвар на стол ты поставь, ну,
Самойленко не из тех, кто, чи ему святой, чи
на святой вечер, голодовать согласится... Так
что подыши и печенье, и соленое, и копченое.
Не жалей и горилочку.

Дочка хозяйки перестарок Марин и молодая
наймачка Ядодоха помогли собрать на стол в
чистой половинке. Меньшая дочка Настя, строй-
ная, худощавая, студентка педтехникума, при-
ехавшая на зимние каникулы, зашла перед
образами лампаду, принялась перебирать
граммофонные пластинки.

Еще с утра Настя сказала своей строптивой
и властной матери:

— Мы вам, мама, поможем, соберем все,
что надо, а вечером пойдем с Маруськой на
опекать. Там все молодежь села будет.

— Вы что, девочки, сказались? — всплеснула
руками, камазными на локтях тестом, мать. —
Святой вечер, а вы в тот комсомол... чи як
там... побеготе?

— На святой вечер колбас и холодца тоже
не едят, — на растерялась Настя.

Ядодоха, подоткнув подола юбки, мыла полы.
Настя малом начищала серебро икон.

— Ну, нехай батько решает.

— Вся молодежь там будет, а нам что, весь
вечер с дедом Емельяном сидеть!

Еще только стало смеркаться, когда хозяйка,
накинув на плечи тулуп, ушла на двор, чтобы
сразу открыть ворота голова саларады.

С Самойленко связывала его не дружба и
не короткая служба у гайдамаков. Скробот
никогда и ни с кем дружбы не водил. Но бы-
ли промахи их дала, а которых ни жинки
своей, ни самому господину богу Максим Сро-
бот не открылся бы. И когда надежный чело-
век из соседнего села передал, что Самой-
ленко в канун рождества придет прямо к
Скроботу, и строжайше предупредил, чтобы
ни одна живая душа об этом не доведася,
догадался Максим, что не ради станика само-
гонки занесет к нему двенного однополчанина.

Быстро темнело. Пришел с женой хум
Емельян Челобитыко, затем приковылял хро-
моногий вдовый церковный староста Смаглюк,
приглашенные едла компании, а Самойленко
все не было.

— Вы заходите до хаты, грейтесь, — пригла-
шал хум.

Та охотно приняла приглашение. Скробот
хотел спустить с цепи здорового кобеля,
чтобы отпугивал от двора колядников, но в
эту минуту раздался резкой скрип полозьев.

Сани стремительно влетали в распахнутые
хозяйном ворота. Он выглянул, нет ли кого
в переулках, и тогда уже ослер ворота и ка-
литку на тяжелые железные засовы, спустил
с цепи ошмбшего от лая пса.

Из саней тшело выбрался закутанный в
тулуп Самойленко, за ним выпрыгнул еще ка-
кой-то рослый мужчина.

— Ну, старая доклатина, скрипнишь еще! —

Самойленко фамильярно облепил хозяина. Качнувшись, ухватился за облупок.— Это лесник. Свой и нулевой чаловик. Кончай давай в юнцонно, санки поставь за хату... Что стоишь, как паралитик? Чужих никого? Повертайся.

На понравилась пьяная развязность Самойленко Скроботу, но он сдержанно сказал, разбегаясь вониз:

— Все будет сделано. А вас прошу до хаты... Все свои.

Гафия вышла встретить на крылечко, с веником в руках бросилась обнимать снег с валенок приехавших.

— Здравствуйте, гости дорогие! Проходите! Проходите в сенцы, снимайте тулупчики... мы их стражем... Бавешки тоже вешайте тут от... Ядоху, где ты там? Голубонько, иди, помоги

Гафия колыхалась в своем ставшем уже узким цветастом платье, как слабо застывший студень. Большое и широкое чернобровое лицо ее, серые глаза с желтыми белками источали сплошное гостеприимство.

Самойленко не торопился и, юнцуя своему спутнику, чтобы тот шел в зал, задержался в сенях. Через минуту оттуда донесся до слуха гостей возмущенный голос Ядоху:

— Та, дядьку! Бросьте свои глупости... Чуть-чуть... Дядько!

— Ну, побалива, прости господи! — подумала хозяйка, зная Самойленко, и позвала: — Ядоху! Неси бутылки с погребом.

Самойленко, захлебываясь, кирпично-кумачовый, переступил порог, обвел мутно-маслянистыми глазами обильный стол.

— Эге-ге! — сощурил он жеманные глаза. — От это голодная кутья!

— И кутья есть, — подобострастно бормотала Гафия. — Садитесь, гостечки! Не побрезгайте, Кинстятин Олексиевич... Откушайте.

Лицо ее с оплывшими, полными щеками лоснилось, толстые губы улыбались, обнажая большие бескровные десны с поблескивавшими золотыми зубами.

Ее дочери, удравшие сперва из-за застенчивости из зала, вернулись с потупленными глазами, и Самойленко сразу переключил свое внимание на них. Когда здорово подыпили и закусили, его даже потянуло на танцы. Завели граммофон. Однако Настя, которую он вытащил танцевать вальс, не сделала и двух

кругов, пунцовая, вырвалась из его рук и убежала.

Спустя несколько времени сестры появились на пороге, одетые в праздничные шубы и теплые шерстяные платки.

— До свиданьячко...

— Ку-удай!

— В клуб идем. На «Шельменко-денщик».

— Это консомол, дьяволовое семя, прости меня господи, — сказал Чалобитько. — Шастают по дворам, у меня куб забрали, две четвертных бутылки. То чертеныш одиногого, что у бабы Соньки квартирует...

Хозяин терпеливо ждал, когда Самойленко заведет с ним разговор, ради которого приехал, но тот пил стакан за стаканом, уже еле ворочая языком.

Емельян Чалобитько снова свернул разговор на консомол:

— Взяли моду работников переписывать, по судам таскать. Одни голодранцы в этом консомоле... Ну, одиногого это чертеныш...

— А вы, дядю, не знаете, что с такими делают? — спросил Самойленко. — Одиногого проучили.

— А эта, сука, Сонька, которая на квартиру себе его взяла, — елилась в разговор церковный староста, — только и слушает, кто где что сказал, и сразу докладывает... Старал...

— И Соньку. — Самойленко пьяно проврал ребром ладони по кadyку, снова налил себе до краев стакан, но не выпил, поднялся. — Пойдем, Максим, потолкуем, — бросил хозяйку.

Скробот повел его в чуланчик.

Скробот, как и многие другие, знал, каков образ Самойленко поставил головой сельрады. Сделал это бывший председатель исполкома Жученко, которого потом взяла ЧК как скрытого петлюровца. Жученко выпрямил документы своему другу, что тот был в конной армии Буденного, воевал с белополяками.

Самойленко вершил дела в банде, которая, свершила террористические акты, рассыпалась по домам Богодаровки, Хлебодаровки, Солонцеватой.

Самойленко завел разговор о том, что операция с оружием и комплектами обмундирования вызвала ярость, что сейчас, когда есть оружие, надо пробиваться на Киевщину и дальше, за границу.

— Как ты, Максим?

— Никуда не поеду. Надоело, да жизнь вроде стала налаживаться.

— А я тоже не совсем покидаю ибьку Украинку. — Самойленко пьяно вслипнул. — Вернемся... Ну, тогда сведем счаты.

— Пойдем выпьем, — потащил Максим.

— К черту! Я елика набрався.

Самойленко заметил в приоткрытую дверь Ядоху, вывалился в сенки и свалил ее за руку.

— Да пустить, дядьку... Шо вы за моду соби взяли?

Квакого от переписки Самойленко здоровая Ядоху метнула от себя так, что он едва не упал. Дичина сырлась. Самойленко постоял и, бессмысленно глядя на пол, стал одеваться. Максим сказал:

— Отомини ворота... Сложу до поповны, попрощаюсь...

Он растворился в балесой мгле. На заставе поповну дома и узнав от работницы, что она пошла в клуб, на спектакль, Самойленко, уже совсем пьяный, пошел туда сам... Уже на пути его догнал лесник-верзила...

Миша Неборка с немалым портфелем (я его назначил главным распорядителем и контролером) огорошил меня:

— Кто будет играть Шельменка?

— А что с Кириллом Ивановичем?

— Подняли в саду, им бы ни ме, отвали до-мой спать.

— Павлушечко. Он роль знает.

За несколько минут до открытия занавеса меня разыскала Софья Ермолаевна.

— Ца ж, мани доведется пидпирать двери? Михайло не дое места.

— Скажите ему, чтоб достал, где хочет, стул и поставил впереди всех рядов... И всегда, когда в клубе будет спектакль или лекция, это будет ваше постоянное место. Почетное!

Спустя немного я снова выглянул в зал. Михайло вынес из-за сцены огромное кресло, которое я видел у него дома, и усаживал Софью Ермолаевну. Она стала кумачовой от радости.

В небольшой зале уже было битком, а с улицы, жадно пробиваясь, расталкивая друг друга, теснились в дверь все новые зрители. Трещали стулья.



В. П. Чкалов и Н. М. Масленников.

Чкалов и актеры

Вар. Ф. И. Л. П. О. В.

Мы дали занавес. Публика, пошумев, утомилась. До своего выхода я наблюдал за зрителями и вдруг увидел у входа разряженную Леонардию Ивановну. Места ей не нашлось, ее зажали со всех сторон, толкали, но она терпеливо переносила все.

И вдруг я увидел, что Миша Неборака освобождает в середине зала место для Самойленко. Он был явно озабочен от выпитого, багрово-красным, а лицо сдвинутым на затылок каракулевой папахе. Он пришел со своим дружок-верзилой, тоже подавленным.

Все это сбывало меня; нечего сказать, внимательный был на сцене кавалер у моей возлюбленной по пьесе!

Я совсем растерялся, увидев у входа батьку. Тот стоял, спокойно скрестив могучие руки на груди, внимательно глядел на сцену. Как дать ему знать, что в зале Самойленко?

А тот, оглядевшись по сторонам, тяжело вращая шеей, наклонился к своему товарищу и что-то шепнул. Верзила спустя минуту оглянулся. Потом, пригibasя, стал протискиваться к выходу. Батька, пропуская его, посторожил.

На сцене начали плясать, и Самойленко, воспользовавшись шумом, пошел вслед за верзилой. Батька сразу вышел следом. И тотчас же в саду за стенами флигеля началась частая стрельба.

Я выскочил через другие двери; револьверные выстрелы, крики удалялись. И парк и село тонули в сплошном снегопаде, снег слепил глаза. Было еле слышно за шумом несущейся над землей выюги, как на церковной колокольне медленно зазвонил колокол.

Из клуба вышел народ.

Батька ранено в плечо. Пуля задела мочку, но кровь шла густо, и я, увидев, что с ним Дзюба, потащил их обоих к Софье Ермолаевне.

— Ушел, гад! — сердился батька. — Ну, дело не уйдет. Я ведь в Солончатое еду. На обратном пути, думаю, заеду к комсомольцам, посмотрю... Если бы не выюга!

Софья Ермолаевна отыскала в сундуке марлю, промыла и перевязала батьку рану, затем проворно накрыла на стол.

— Что за колокольный звон был! — спросил батьку Дзюбу.

— Так святой вечер сегодня, — ответил он, боязливо отводя вбок глаза.

Софья Ермолаевна недоверчиво покачала головой:

— Церковь давно закрыта. Уже ж полночь! Она взобралась на лавку и справив потрескивающую, скорбно мигающую своим глазом лампаду у иконы — незаметно перекрестила себе грудь.

Батька ешь отказался и приказал Дзюбе:

— Скажешь кучеру, пусть подает сюда сани.

— Ох, Василий Харитонович, не советую вам сегодня ехать, — сказала Софья Ермолаевна. — Этот Самойленко из села нигде не сбавал, мало ли что может случиться?

— Чтот!

— Да и Дзюба знает, что вы едете... Не верю я этому падлу...

— Надо ехать, — твердо сказал батька.

— Переоночуйте... Вон кровать у нас свободная. Гляньте, как метет.

Очень настойчиво упрасивала Софья Ермолаевна. Батьку заупрямился, стал одеваться.

Софья Ермолаевна сказала:

— Тогда... Я вас выведу дорогой, жуть никто не знает. Там на озере. Через Лопухинское озеро. Зарез добренько подмерзло. И короче...

Подумав, батька согласился.

Софья Ермолаевна стала торопливо одеваться, повязалась большим теплым платком.

За ставней зашуршала полость, вошел Дзюба.

— Сани тут, коло двора, Василий Харитонович.

— Идите, отдыхайте, — юкнула ему Батька. Здоровой рукой он потрепал меня по плечу:

— Извини, дружок, что сорвал тебе спектакль. В другой раз досмотрим... А вообще молодцы ребята!

Я набросил на себя полушубок, вышел проводить. Софья Ермолаевна усаживалась рядом с кучером.

Лошади рванули. На небе светился бледный

диск луны, около строений залегали резкие тени. От сарая напротив отделилась фигура, направилась ко мне. Михайло Неборака!

— Ты что тут маршируешь?

— Зайти постеснялся, а покормить надо было.

— Ну, заходи в тепло.

Мы долго обсуждали с ним происшедшее, пили горячего чаю.

— А где баба Сонька?

Я сказал. Ходки показывали уже начало третьего, а хозяйки все не было. Михайло засобирался домой. Не запирая двери и не раздеваясь, только сбросив валенки, я лег на лаванку. Засыпая, слышал, как лает Баласа. Разбудил меня часовой около шести Кирюха. Охна промерзала, мороз их здорово разрисовал узорными листьями.

— Нету тетки Соньки! — спросил от порога с нескрываемой тревогой Кирюха. Из-за его спины выглядывала Ярина.

— Может, она с батьком до города рванула прокатиться, — сказал я.

Кирюха молча постоял, вышел и внес одетую соломы, свалил ее у печи и, дун на красные кисти рук, принялся растапливать. Солома была мокрая, не разгоралась, дымилась.

Я натянул валенки, плеснул себе на лицо водой. Ярина принялась разогревать для меня

Есть мне не хотелось, какое-то тревожное предчувствие томило меня. Я поминутно выглядывал в окно.

Кирюха заметно побледнел.

— Выьем по чарке! — спросил я его. — Сегодня же рождество!

— А чего ж? Давайте.

Потом мы вышли на подворье. Сухой, мерзлый снег скрипел под валенками, дымилась поземка. Разноцветные дымы таяли в солнечных лучах над кровлями хат, в стеклянном-зеленом небе.

В конце улицы я увидел Михайла с Павлушечкой. Они торопливо шли, почти бжали к нам. Не здороваясь, Михайло сказал:

— Нашли бабку Соньку. В Таловой балке, сразу около Лопухинского озера. Там на ней крошечки... Наполовину снегом занесло... Вся оледенела, аж в глазах лед...

Летний филиал Московского клуба мастеров искусств находился на Стрешнем бульваре, в саду-на-журнально-газетного объединения. Здесь часто видели А. Луначарского, Н. Самойлова, Е. Ярославского, В. Малковского, В. Мейерхольда, Л. Собинина, А. Таирова, В. Качалова, Н. Москвина, М. Книжника.

Руководили клубом Владимир Кон — старый профессиональный революционер, начальник Главискусства, а также Н. М. Москвин и В. В. Барсова.

Желанными гостями «убежища муз» всегда были ударники московских заводов и фабрик, ученые, военачальники, видные общественные деятели. Особая дружба установилась у артистов с поляриками и летчиками. Не адал ли не первым по своей популярности в пьесе «Звезда» тридцатых годов был великий летчик — Валерий Павлович Чкалов. Служа о его виртуозном мастерстве привлекала к нему необычайный интерес и со стороны творческой интеллигенции. Какие только легенды не рассказывали о нем — самобытном сыне великой земли! И, как правило, легенды оказывались былыми.

Однажды Н. М. Москвин дружески пригласил знаменитого летчика:

— Приходите к нам! Я познакомлю Вас с Алексеем Толстым! С Книжником! Угостим вас нотатами

«по-книжничеству». Идем обязательно с женой — Ольгой Эразмовной Празда, клуб нам для «полуночников» собираемся после спектаклей, не раньше 11 вечера...

Чкалов стал частым посетителем клуба. Постоянно у Валерия Павловича скопилось компания друзей. В их числе, кроме Москвина и Книжника, были скульптор Исак Менделевич, его брат конферансье А. А. Менделевич; известный артист эстрады, интеллюб Н. П. Свиридов-Соколовский. Нередко сидели в этой компании Алексей Толстой, Демьян Бедный. Общество было веселое, жизнерадостное, любившее «переоночуться» анекдотом, пошутить и в те же время серьезно поговорить о жизни. И артисты и писатели радовались, что молодой, всемирно прославленный летчик хорошо знаком с литературой и театром, изобразительным искусством: шутки и серьезно судят о явлениях художественной жизни нашей страны.

Я не раз наблюдал Валерия Павловича на клубных концертах и актерских творческих вечерах. С таким сосредоточенным вниманием слушал он чтение В. И. Качалова, как изумительно хохотал, когда В. Я. Хенкин выступал на клубной эстраде с рассказом Зощенко, как живо реагировал, слушая родные вокальные напевы в исполнении Людмилы Руслановой... Он был истинным почитателем талантов Льва Оборина и Георгия Нейгауза, нередко выступавших у нас в клубе. Характерной чертой Валерия Павловича было его уважительное от-

ношение к труду артистов: не шутя он говорил, что актер, игравший спектакль, испытывает, вероятно, не меньшее нервное напряжение, чем летчик в сложном полете!

— Мне легче, чем вам, — как-то сказал Чкалов Москвину. — Когда я летаю, то, к счастью, не вижу перед собой публики! Публика — это, наверное, потруднее «мертвой лавки»!

Для молодых артистов Чкалов был фигурой романтической, необыкновенной. Все знали, с каким упорством и трудом пробивал этот юнцовый могучий человек «пути в жизнь».

Помню, пригласили мы Валерия Павловича на первомайский вечер. Конечно, все хотели видеть его в праздничном. Но он забился куда-то в конец зрительного зала. Наша публика устроила ему овацию, тогда Чкалов совсем рассердился и сказал: «Не мне надо аплодировать, а народу нашему. Он дал нам крылья!» После этой чкаловской реплики аплодисменты, разумеется, еще более усилились...

Но по-настоящему рассерженным видел я Чкалова при иных обстоятельствах. Как-то он пришел в клуб вместе с Москвиным и по пути остановился в холле, который артисты обычно называли «предбанником». Внимание Чкалова привлекла выставка молодых художников.

Осматривая выставку, Чкалов булжало разъярился:

— Черт знает, что такое! И где только вынопают художники таких

блудных, немощных, художничих ребят! Что это, туберкулезный санаторий? Или он не видел здоровых, хороших советских детей? Не бывал в школах, детских садах? Да просто походил бы по дворам, посмотрел на улички... Канал-то детский больницы!

Н. М. Москвин, чувствуя свою ответственность за выставку, смущенно ответил:

— Это ты прав, Валерий Павлович! Туберкулезная выставка! Не художники, а «детоубийцы». И впрямь надо считать...

Незабываемой была встреча В. П. Чкалова с артистами, художниками и музыкантами столицы после его знаменитого перелета по маршруту Москва — Северный полюс — Соединенные Штаты Америки. Зрительный зал был переполнен до отказа. Со свойственной ему широким образом Чкалов рассказывал о героическом перелете. Говорил главным образом о своих друзьях — Байдукове и Валюкове, просто и широко излагал детали необычного перелета, будто все само собой и нем подразумевалось: и цинколы, которые пришлось преодолевать, и обледенение самолета, и недостаток кислорода, бывает, мол и такое на большой высоте!

Вот так он и повествовал с трибуны. И все слушали его затан дыхание. Артист Московского Художественного театра В. В. Белокурова, наблюдавший Валерия Павловича в клубе, впоследствии живо и сильно воплотил образ Чкалова в кино...



Николай Михайлович Зинovieв.

ЖИВЕТ В ДЕРЕВНЕ ЧЕЛОВЕК

Николай РОДИЧЕВ

С высоты птичьего полета земля эта, неверное, кажется скатертью-самбраной. Поля холмистые, округлые, похожи на хлебные караваи. Обрамлены они узорами подступающих радиус лесов. Всплывшиеся близ дороги березовые рощи просматриваются насквозь. За белыми столами видится лесок покосе и погуща, с темно-зелеными пятнами вершин. Это елошник, а за елошником вдруг выплывает дом-теремок с кинкой по гребню крыши, притаив за собой к шоссе целый рядок таких же нарядных строений.

Сразу после города Шуи, промышленного, каменно-красного и запыленного с ватны, начинаются селения, которые в затейливом убранстве будто соперничают с окружающей природой: разные наливники над окнами в два, а то и три яруса, точеные опоры крыльца, побеленная жуть молчанов на дымоходе. За Афанасьевскими холмами большое селение староверов-полушубошников Пустошь, дальше идут Дорки, после них — Красное. Чем дальше в глубь Иваново края, тем острее чувство, что едешь по земле предков. Отовсюду глядит на тебя горделивая, осмистая, мастеровая Русь.

С холмов видны купола Крестовоздвиженского храма. Впереди Палеза.

Об этом старинном гнезде национальной живописи написаны тома. Кратковременный визит в малую столицу народного искусства, где сейчас живет свыше сорока членов Союза художников, ничего не даст. О каждом из тамошних живописцев можно писать целую книгу. Давайте на этот раз не додем до Палеза.

У небольшого мостика через речушку крутой сворот с наезженного шоссе к деревеньке с колодезным журавлем на единственной и очень кучей улице. Это Дятлево, или просто Дятли. Так называли встарь трамвайное устье трех речек, сбегавшихся сюда пошатываясь с камышами: Лелюх, Палезка, Демидовка. Для такого селения и одной речки вполне хватило бы. Сажали же по одному дереву под окнами. А все равно зелено на улице. Остановились у дома с березой.

Откуда-то из глубины двора к калитке вышел высокий прямой старик — бритый, с жестким пучком серых от седины волос на верхней губе. Суровые складки раскраснели его зарумянившиеся от ходьбы и трудовой работы лицо. Большие крестьянские руки в земле — он только что березным декемнем прислонил к крыльцу лопату.

Николай Михайлович Зинovieв. Народный художник.

На одном из дошедших портретов, обобщавшем многие наши и зарубужные газеты после того, как Николай Михайлович получил на парижской выставке первую премию, художник был изображен крестьянином с волдырями, крупными чертами лица, в расшитой косоворотке. Сейчас в его внешности мало что изменилось, разве поглубже врезались в загорелую шею складки да вместо косоворотки теплая фланелевая сорочка в большую клетку — такие в моде у столичных студентов. Видно, не очень-то доверял переменыному утреннему ветру, Николай Михайлович надел поверх сорочки ватную безрукавку: погода солнечная, но, оставив свой след в редких на анских волосах, над головой прошумало восемнадцать зим...

Ранняя весна щедро опушила деревья. Подзолоченные лучами саражки саисают с ветвей березы, прибавля очарования и без того нарядному дому Зинovieвых. Трудно сказать, сколько этому дому лет. Прадед художника, иконописец и гравировщик Кузьма Христофорович, возвратившись из похода против Наполеона, раскрасил под фамильную салюту это место от болотной травы. Только Николай Михайлович за свой век трижды менял подоконники, уложенные руками прадеда.

Вдоль подоконника длинный, незаставленный деревянный стол. Уставлен он крохотными чашечками для красок. На блюдце гусиное перо, кисти, волчий зуб, которым живописец шлифует позолоту миниатюр. На стенах несколько картин: «Распятие», чудом уцелевшее со времен учебы юного Зинovieва в иконописной школе, этюд маслом с изображением ключикоматой копенки сена в полукруглые угадающего осмистика. «На своих ли руках сложил копенку перед тем, как написать ее?..» Акварели сына Виктора, старшего лейтенанта, погибшего в войну; несколько фотографий: милые скульпстичные мордашки внуков и правнуков художника.

Над потрепанной юнгой «Вселенная и человечество» — современный изданный святильник. Книга раскрыта на странице об этиологии.

Вместо закладки художественная пластина, а на ней бездна марцеющих звезд, глубинная снть галактик, распадающийся на части огненный шар...

Мне показалось, будто нечто подобное я видел. Пытаюсь вслух перебрать музеи, выставки с работами палезан. Автор пластины приходит на помощь:

— Да, моя прежняя работа «История земли» выставлена в Третьяковке. На одиннадцати предметах письменного прибора там изображены главные этапы образования планет и отдельные картины трудовой деятельности человека. Но кое-что там устарело. Появились новые гипотезы... Хочу написать заново.

Николай Михайлович показывает готовые работы последнего времени. Среди них таралка с красочной мипроизводящей по мотивам произведений Н. А. Некрасова. В центре картины очень выразительный портрет поэта.

— Моя тема! — с теплинной в выдающихся глазах говорит он, — Много приходилось писать малышей, да и крестьянские детки пишу не впервые, а все тянет к себе ребятня...

В лицах детей бездна очарования! Живописная пестрота крестьянского быта той поры, бедность одежд скрадывается яркостью красок, тонкой игрой линий, динамичной метко схваченных движений, богатством окружающей природы. Что-то милое и смешное видится сейчас в лапотках, расписанных позолотой, в праздничных узорах на посконных рубашках. Однако дети в изображении Н. М. Зинovieва не только цветы жизни, носители беззаботного веселья. Это сложные и подчас даже слишком сложные люди, способные радоваться непосредственно, переживать глубоко. В их образах художник парадит светлые и темные грани большого и противоречивого мира.

Детство самого художника было тяжелым, но скрывали памятные встречи в родительском доме с людьми бывальыми, одаренными. Долгие зимними вечерами засиживался у них приятель отца Василий Васильевич Крылов. Наведывался и однофамилец, а может, и дальний родич Аким Зинovieв. Оба они в свое время работали в иконописной мастерской Д. А. Салабанова в Нижнем Новгороде. Как раз в ту пору Акулина Каширина привала к ним в ученики четырнадцатилетнего отрока Алешу Пешкова. У них «богомзаво» уже были ученики, а Аким Зинovieв писал сам, без подручного. Он подзвал юного Пешкова к себе, пытался приохотить к своему ремеслу. Так, по преданиям дятлевец, их земляк Аким Зинovieв стал третьим учеником А. М. Горького в его жизненных университетах. Первым была бабушка Акулина, вторым — повар Смурый... Кое-что из воспоминаний об этой поро в их доме запомнил Николай Михайлович. Особенно горько был на откровении такого рода В. В. Крылов.

— С Лавсеем Пешковым, — говорил гость в доме отца, — я щи хлебав из одной миски, на полатах аполот лежал рядом... А теперь, глянь-ка, где Лавсей застыл... И ты, Коля, старайся. Можешь, и ты в знаменитости попадешь. Тогда о нас вспомни.

Был в те годы у Коли Зинovieва заветный другок. Вместе ходили они за окунами на Лелюх, споживали у костра в ночном. Училились они оба в иконописной школе. Завыл дружка Павел Корни. По окончании этой школы им выдали свидательство мастера иконописания, но умали эти рослые крестьянские парни нарисовать портрет, расписать стены храмов. Для Николая Михайловича профессия эта стала основной на долгие годы. Павел Дмитриевич стремился к станковой живописи, мечтал о художественном училище.

Николай Михайлович должен был чуть не с десяти лет помогать отцу по хозяйству, потому и не помышлял о дальнейшем образовании. Жизненные пути друзей нередко расходились. Однако на случайных были их встречи.

С 1907 по 1911 год Н. М. Зинovieв работал по найму в мастерской купца Малова, в подмосковном поселке Малашево. Хозяин разбирался в живописи, настоящим мастером платил не в обиду, однако человеком был неважным, своенравным. Любил покуривать. Однажды на глаза ему попался стройный русоволосый юноша интеллигент-

Н. ЗИНОВИЕВ. Ресник по мотивам сказки П. Ершова «Канис-Горбунов».





Н. ЗИНОВЬЕВ. Роспись по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина.

«Песня о Буревестнике» А. М. Горького.



ного вида, приехавший повидаться с Зиновьевым. Пришлось представить его Малоу. Купчик пожелал проверить способности Павла Дмитриевича и остался довольным его пробной картиной. Молодой П. Корин тогда скупался без работы и надеялся получить место в мастерской. Но хозяин захотел испытать юнчика на покорность:

— Сходи-ка, парень, на край поселка и принеси корзину свежей земли, не клумбы, а палисады высыпешь...

— Я художник! — оборвал Павел Дмитриевич наглеца. — В Москву приехал учиться живописи, а не выполнять прихоти невежд!..

Рискуя потерять обжитое место, Николай Михайлович поддержал друга. Места в мастерской П. Корину, конечно, не дали. Труден был путь крестьянских детей к своей мечте. Но все же Павел Дмитриевич добился своего, окончил училище, стал впоследствии одним из выдающихся советских художников, лауреатом Ленинской премии. Всамостоятельное признание своего таланта в искусстве миниатюры получил и народный художник Н. М. Зиновьев. Почти каждое лето приезжал П. Д. Корин в родные места. Нередко вместе с ним навещали Палех художники Ю. Непринцева, искусствовед М. Тихомирова. Они всегда были желанными гостями в доме Зиновьевых.

До того, как основательно заняться художественной миниатюрой, Николай Михайлович испытал себя во многих профессиях. В первую мировую войну он служил радистом сибирского полка.

Семья требовала помощи. У отца ослабело зрение, младшие братья и сестры не могли сами справиться с хозяйством. Пришлось вернуться из Москвы и стать за отцовской плуг. Впрочем, многие пригородными работниками земли занимались там же: потребность в иконах пала, храмы пустали. Народ искал новые пути к переустройству жизни, в том числе и пути к своему новому, пролетарскому искусству.

На пыльных армарках, которыми всегда отличались Палех и Шуя, Николай Михайлович выдал, как некоторые прежние иконописцы торговали сундучками, коробцами, расписанными под какой-нибудь затейливый сюжет из народной бытащины. Их раскупали ради забавы детям. Временами среди аляповатых набросков кустарей попадались мастерски выполненные картины. Палата была одна и та же: десяток яиц или кошелка картофеля. Особенно много таких изделий стало появляться, когда из отхожих промыслов вернулся в Палех И. Голинов, И. Вакуров, А. Котулина. Рослись бытовые предметы: они сделали своей основной профессией и организовали артель. Люди творческие, неутомимые в исканиях, они интуитивно набрали на способ соединить лаковую живопись древнерусских мастеров с композициями на темы сказок. Осваивали и современные сюжеты. Успех был необычайно шумным. Постепенно и другие мастера юсти, с ними и Николай Михайлович, приобщались к искусству миниатюры. Их усилиями, индивидуальным почерком каждого в этом общем стиле, разнообразием тем и яркостью воплощения они создали мировую славу русской миниатюры. Еще в 1925 году палехане получили на парижской художественно-промышленной выставке высшую награду. По существу, это было первое признание за рубежом народного искусства молодой Страны Советов.

Николай Михайлович с первых проб освоил технику миниатюры и вскоре вошел в число ведущих ее мастеров. Вслед за чернильным прибором и импровизацией на тему «Уланка» он создал несколько шедевров, украсивших ныне многие музеи страны и достойно представляющих русское искусство на зарубежных выставках. Помощью упомянутой уже «Истории земли», в Третьяковской галерее выставленной, шкатулка «Штурм Имамла», платочница «Оборона Ленинграда». В Музее Революции есть его шкатулка «Праздник урожая», в Русском музее — композиция на тему «Пионеры на воскреснике», в Пушкинском доме — «Семь выдающихся произведений А. С. Пушкина».

В 1937 году за несколько работ, представленных на парижскую выставку, Н. М. Зиновьеву присуждена высшая награда — Гран-при. Основным произведением, привлечшим внимание мировой прессы, была композиция на тему романа Анри Барбюса «Огонь». На небольшом подносе размером в обыкновенную тарелку автор разместил сотни образов людей разных возрастов и сословий, множество картин, связанных с войной, изобразил во всей глубине человеческие страдания. В эту универсальную по выразительности и технике исполнения работу автор вложил определенное, созвучное своему времени идейное содержание. «Сейчас, когда фашизм готовит новую бойню», писал, готовясь к выставке, Н. М. Зиновьев, — я считал своим моральным долгом художника напомнить нашим советским людям и тем, которые будут смотреть парижскую выставку, об ужасах войны, о необходимости всеми средствами бороться против поджигателей войны — фашистов».

Время подтвердило со всей полнотой тревогу художника и гражданства за будущее своей страны и всего человечества. Не прошло и четырех лет, как фашисты напали на нашу страну. На фронт ушли все без исключения палехане, способные носить оружие. Двадцать восемь профессиональных живописцев не вернулись в свои мастерские. В их числе родной сын Николай Михайловича Виктор и зять Павел Бажанов. О последнем до сих пор говорят как о выдающемся мастере, достигшем зрелого письма еще в юношеские годы. Вот какие потери кроются подчас за скупыми строками официальных извещений: «Пав смертью храбрых...»

Когда сын и зять ушли на войну, Николай Михайлович принял дела у председателя колхоза, стал главой сельхозартели в родных Дятликах.

Двенадцать лет затем Н. М. Зиновьев был директором Государственного музея палехского искусства, совмещал организаторскую работу по собиравшему разошедшихся по стране созвучию живописи с преподаванием в училище.

О своих учениках Николай Михайлович говорит с гордостью и со смущением. Из много, всех не перечислишь. Есть заслуженные мастера искусства, заслуженные художники, есть просто отличные мастера тонкой кисти.

— Начин перечислять, кого-нибудь да не упомянешь, обидится, — поясняет он. — Почти все нынешние прошли перед глазами.

Несколько фамилий все же называет.

Чтобы не показаться слишком благополучным в сложном деле воспитания творческой молодежи, художник рассказал о недавнем иконфликте с одним способным, но слишком унаследованным студентом. Принес юнша пластину размером почти в метр: не миниатюры, не палисады. Фигуры сантиметром по шестьдесят, выполнены кое-как, но с претензией на оригинальность. Эскизно, без технической проработки. Пришлось сказать об этих недостатках рисунка «новатору» прямо.

Юнша был лено не в духе:

— Технича!.. Традиция!.. Надоело это все, сто лет сидим на одном и том же!

Николай Михайлович спокойно поправил молодого человека:

— Не сто, а триста лет... Стиль древнерусской живописи палехане берегут три века, а может, и того больше... Когда настало время, икононое ремесло сами же палехане преобразовали в новую самобытную ветвь национального искусства, которое получило всамостоятельное признание... Что отжило, отбросили, а технику сохраняли и развивали. Без своего стиля Палех немисли так же, как не может быть настоящего художника без овладения им техникой живописи.

...Через распахнутую форточку в мастерскую льется птичий щебет, прощорпанные сворцы режут с веток набухшие почки. Над прогретой лашей вылетают синие острые испарения. Художник не усидит в такой день над шкатулкой. Что-то будет мешать ему сосредоточиться, скоро он поймет, что шитье работа с юстью просто не ладится. Не рез выйдет на крыльцо, оглядит омытые дождями небо, постойт на прохладной маете, разомнет теплым кусочек земли мав палец. Если глаз приметит подгнившее бревно, руки потянутся к топору. Сошла талая вода с огорода, обозначились прошлогодние градики, — не утерпит, взрыхлит их лопатой. Супруга Александра Алексеевна будет опускаться в свежее лунок приготовленные загодя картофелины с желтыми глазками ростков... А потом они будут выходить росными зорями на градики, радоваться первым всходам. И в этих заботах не просто привычная дума о хлебе насущном, а нечто высокое, содержащее радость жизни, истоки того, что приводит истинного творца к искусству.

В мою бытность в Дятликах шофер привез Зиновьеву машину дрова. Крутые полени свалил кое-как напротив окон. Один из молодых гостей инкулся было к груде поленьев, чтобы перетаскать их под навес. Николай Михайлович с резкой поспешностью остановил добровольца.

— Не обидеться, это мое любимое занятие — пилить и колоть дрова. Покамест справлялся, — не без гордости заявил он.

К товарищественному вечеру, посвященному 75-летию народного художника, друзья подсчитали: только в протоколах художественного совета отмечено около 300 оригинальных работ Николая Михайловича в жанре лаковой миниатюры. Это помимо росписи стен во дворцах культуры, реставрационных работ в Успенском соборе Кремля и Петропавловском дворце, кроме живописи, оставленной в Ново-Афонском монастыре.

В миниатюрах Н. М. Зиновьева чувствуются традиции древнерусской школы строгановского стиля XVII века с характерной для этой школы малой росписью контуров одежды, разномыслиями вокруг и вблизи тех мест, которые живописец почему-либо хочет выдвинуть, четкостью пробелов и намеренным обрамлением. Затейливый орнамент, будто музыка, сопровождает и подчеркивает особенности отдельных элементов композиции. Чувствуется и близость фрески Спаса-Нередицы. Эти качества, обогащающие индивидуальность почерка мастера, особенно проявляются в работах на тему народных сказок. Впрочем, не только у одного этого художника.

О художниках Палеха написано немало книг, защищены диссертации. Николай Михайлович задумал рассказать о самом процессе создания композиций, о секретах мастерства наиболее выдающихся, самобытных художников. Начал свой многолетний труд автор с того, что воспроизвел в цвете 34 самых оригинальных произведения собиравшие по кисти. Рисунки сопровождал беседами об истории возникновения каждого из них, о технике изготовления драгоценных шкатулок и ларцев. Такая книга нуждалась в особом оформлении, и автор исторично, творчески выполнил все, начиная с обложки и кончая всякими заставками и концовками. Сюда же вошло 28 новых картин автора и тщательное описание своих методов овладения тонкой кистью. На это ушло более пяти лет.

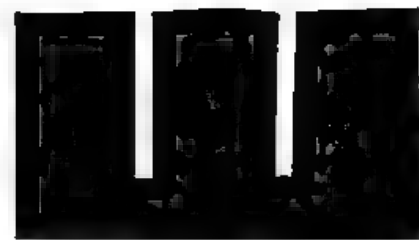
Книга Н. М. Зиновьева «Искусство Палеха» скоро выйдет в свет. Она, несомненно, привлечет внимание читателей и получит оценку специалистов.

П. Д. Корин перед своей кончиной ознакомился с рукописью друга детства и сверстника юных лет и предположил будущей книге небольшое предисловие, в котором вспомнил горьковские слова о русской миниатюре палехан как о маленьком чуде, рожденном революцией. «На какой основе и традициях выросло это «чудо»? — пишет автор предисловия. — Книга одного из старейших и выдающихся мастеров палехского искусства, Н. М. Зиновьева, исчерпывающе отвечает на этот вопрос. Она дает полное представление о приемах и технике иконописи и развитии нового палехского искусства».

Сейчас, в этот летний день июня, когда вы, дорогой читатель, держите в руках номер журнала с краткими заметками о поездке в одну из маленьких русских деревень, над Дятликом зрело-синие летние небо. Легкий ветерок доносит из поймы трех речушек запах цветущего разнотравья. В окрестях царит разноголосица птиц, слетевшихся на гнездовья.

Возможно, как раз в этот час из калитки дома с березой исторично-походной выходит с палкой в руке высокой седой старик. Вот он приблизился к шоссе, пропускает мимо бегущую попутную машину. Кто-то приветливо кивает ему из кабинки, замедляя ход машины. Но старик, отнеся улыбку, идет себе дальше.

Если вы встретите этого путника, поклонитесь ему. Он совершил подвиг во славу своего народа и продолжает этот подвиг. Он несет людям радость.



ХРОНИКА УБИЙСТВ

Генрих БОРОВИК,
собственный корреспондент АПН

У этого убийства не было начала и нет конца, хотя все отхрониматрировано точно. Известно, что пули вошли в голову и плечо сенатора Кеннеди в 0 часов 15 минут (время тихоокеанского побережья США) 5 июня 1968 года; скончался он, не приходя в сознание, 6 июня в 1 час 44 минуты. Гроб с телом был опущен на землю Арлингтонского кладбища в Вашингтоне 8 июня в 22 часа 30 минут (время восточного побережья). Еще через 15 минут ближайшие друзья покойного сенатора растащили над гробом и потом сложили флаг Соединенных Штатов. Космонавт Глэнн отдал флаг Эдварду Кеннеди, а тот передал его Этель — вдове Роберта Кеннеди.

Все отхрониматрировано. Но у этого убийства нет временных рамок. И хронику его можно начинать и вести произвольно. Ведь не хронология определяет порядок событий. Иногда причина заявляет о себе значительно позже следствия. Во всяком случае, для начала я избираю не драматический момент быстрых, почти пулеметных выстрелов из револьвера в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, а гораздо менее начиненный событиями день 8 июня в Нью-Йорке.

12.00. Караван длинных распластанных черных машин — траурный кортеж — движется по Пятой авеню. Благодаря сильному телевизору я вижу их сплюснутыми, сдвинутыми мне навстречу. Солнца, отражаясь в тщательно отполированной поверхности, бьет в глаза, как луч из гиперболоида. Мотоциклисты в белых пластмассовых шлемах неестественно удлиненны, будто печальный караван сопровождают баскетболисты — «лобтроттеры». Плотная толпа стоит вдоль Пятой авеню, густо забив тротуары от полицейских перил до величественных витрин «Сакса», «Бест энд компани», «Корсетта». Молчат. Многие плачут.

Я пытаюсь объяснить себе эти слезы. Наверное, горе Америки значительно шире, оно не замыкается на личности Роберта Кеннеди. Сегодняшние слезы — трагическая разрядка чудовищного, неестественного напряжения, в котором живет страна. Убийство Кеннеди — повод для слез, которые скопились давно.

12.15. Прерваны телевизионные передачи. Диктор сообщает, что в лондонском аэропорту арестован Джеймс Эрл Рей, обвиняющийся в убийстве доктора Мартина Лютера Кинга 4 апреля 1968 года. На экране возникают две фотографии. На обеих молодое лицо преобразованнейшего американца в вечернем костюме (его снимали во время вечеринки) при «бэбонке». На одном фото глаза у него закрыты

(моргнул, когда вспыхнула лампа фотоаппарата), на другом — открыты (это уже работа полицейского художника). Обе фотографии я видел два месяца назад в американских газетах. А совсем недавно в Бостоне видел их в здании суда, где идет процесс над доктором Споном.

11.15 (лондонское время). Когда агенты Скотланд Ярда подошли в зале ожидания лондонского аэропорта и человеку в легком дождевом плаще и спортивном костюме, он не пытался сопротивляться аресту. Он прилетел из Лисабона и ждал посадки на самолет в Брюссель. При нем нашли два паспорта на имя Рамона Джордж Снейда и зарплатный билет. Рамон Снейд, он же Эрик Голт, он же Джеймс Рей, не сказал ни слова. Лицо его, как отвечают агенты Скотланд Ярда, не носило никаких следов попытки сделать его неузнаваемым. Кроме, пожалуй, очков.

Один из паспортов, как оказалось, был выдан Джеймсу Рею в Оттаве (фотография на его заявлении в заграничном паспорте и послужила нитью для полиции), другой — канадским консульством в Лисабоне.

Рей приехал в Торонто (Канада) на четвертый день после убийства Мартина Лютера Кинга. И хотя там четыре недели, не знал особых тревог и только один раз сменял гостиницу. (Именно в эти недели министр юстиции США Рамсей Кларк несколько раз объявлял прессе, что агенты ФБР бурно сидят на пятках у убегающего преступника и даже знают колонии, где Рей заправлял свою машину бензином.) Затем, получив паспорт, Рей купил за три сотни долларов билет на самолет и отправился в Лисабон. Там он, видимо, ждал до последнего времени, пока 8 июня не вылетел в Брюссель с пересадкой в Лондоне.

9.45 (время Нью-Йорка). 2 500 человек приглашены в собор святого Патрика — самый популярный католический собор в США — на траурную мессу, которую будет вести архиепископ Нью-Йорка Нук, преемник покойного кардинала Спеллмана. 2 500 человек один за другим поднимаются по плоским ступеням собора. 2 500 человек — все из справочника «Ху из ху из Америка» («Кто есть кто в Америке»). Канитэссенция справочника. Вытяжка из канитэссенции.

Тысячи стоявших вокруг собора с любопытством смотрят на людей, о которых говорят в Америке: «Они ведут дело». Еще их называют «селебритиз» — «известности». Или «ВВП» — «сери импортант лица» — «очень важные лю-



ди». И даже «ВВП» — «очень, очень важные люди». По ступеням поднимаются власть, миллионы, слава.

На них не смотрит только полиция и секретные агенты. Полиция и секретные агенты полагаются смотреть за другими людьми. Поэтому они стоят спиной и ступенями, лицом к толпе.

Губернатор Ронфеллер, — слышу я голос корреспондента Эн-Би-Си, — его лицо скорбно и серьезно.

Сенатор Барри Голдуотер, его лицо скорбно и серьезно.

Сенатор Джавитс, его лицо тоже серьезно и скорбно.

Нет, это не ирония телекомментатора. Так оно и есть. Большинство лиц скорбно и серьезно. Я бы добавил еще, что это в основном сильные лица. Мужчины одеты оди-

нано просто — темные костюмы. Их подруги позволяют себе траурную изысканность. И каждая быстро и зорко оглядывает соседку: как одета? Не старомоден ли траур? Не одевалось ли это же платье на похороны Джона Кеннеди? Вот было бы шло! Нет, все в ногу с моднейшими течениями в траурных моделях — мини-траур.

Вы видите Ричарда Никсона и его жену Патрицию... — говорит телекомментатор. Но о выражении лица Ричарда Никсона комментатор ничего не говорит. Потому что Никсон, поднимаясь по ступеням собора... улыбается. Нет, я далеко от мысли, что он не может скрыть радости от потери возможного конкурента на тернистом пути к президентскому креслу. Просто сработал непроизвольный рефлекс человека, привыкшего обязательно улы-

ГАТЫ АМЕРИКИ



3

Убит сенатор Роберт Кеннеди (1).

Никто не ждал этого. Но это не было неожиданным. Беснувшийся убийца стал символом Америки на сегодня и на вчера (2).

1963 год. Милл процветающего тexasского города — Даллас — занесено на скрижали истории в позорной рамке. Даллас — это преступление за преступлением. Пулей названного убийцы сражен американский президент. Скорбны лица вдовы Жаклин, братьев Роберта (он слева) и Эдварда (3). Они провожают Джона Кеннеди в последний путь на Арлингтонское кладбище. Двадцать четыре человека, в той или иной степени причастных к событиям в Далласе, погибнут насильственной смертью. Виновных нет, список жертв остается открытым. «Если вопрос «кто убил президента» важен, вопрос «что убийло президента» еще важнее», — сказал Мартин Лютер Кинг.

1966 год. На пыльной дороге Миссисипи падает раненый трамв пулей Джаймс Мерадит, известный борец за права негров (4).

1968 год. Ружье с оптимистичным прицелом, излюбленное оружие американских убийц, нацелено в Мартина Лютера Кинга. Кинг, сторонник учения Ганди о ненасильственных действиях, становится жертвой насилья. Стоя около смертельно раненого Кинга, его друзья показывают на окно, из которого стрелял убийца (5).

Еще один убитый — тоже негр. Его имя неизвестно. Им мог быть любой негр США. Зато известен убийца — американский расист (6).

Кто воспитан на права силы и кольта, кто без колебаний убивает негров и негров в собственной стране, кто смекает напалмом десятки тысяч мужчин, женщин и детей Вьетнама (7), тот не остановится ни перед чем.

Такова сегодняшняя капиталистическая Америка!

Фото ЮПИ, журналов «Периодик», «Лайф».

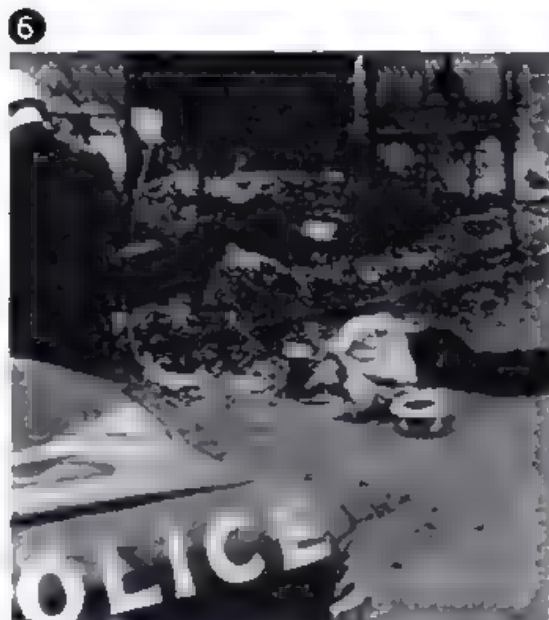
МНЕНИЕ САЙРУСА ИТОНА

В день покушения на Роберта Кеннеди корреспондент «Огонька» встретился с известным американским общественным деятелем Сайрусом Итоном, гостившим в Москве.

- Господин Итон, что вы думаете о сегодняшнем событии?
- Это трагическая новость. Ужасное несчастье. Я очень сожалею об этом.
- Как вы расцениваете покушение на Роберта Кеннеди после недавнего убийства Джона Кеннеди и Мартина Кинга?
- Мы, американцы, должны найти пути к тому, чтобы таких событий больше не случалось. Я думаю, что мне придется говорить об этом на родине, куда я вылетаю завтра.



5



6



7

биться толпе. Кандидат должен всегда улыбаться. А Никсон всегда смеется.

Проходит вице-президент Ханффри с супругой. Президент и леди Берд. 10.00. Собор внутри еще более огромен и величествен, чем кажется снаружи. Два с половиной тысячи человек занимают места на длинных и тяжелых, канн вывезены только в церквях, на вокзалах и в молельнях, скамьях. Прежде чем сесть, Джонсоны опускаются на колени на подушечку. Насколько мгновений молятся, опускают головы. Ханффри поднимает губы. Голдберг вытирает лоб платком. Раси сидит неподвижно. Архиепископ Теренс Кук в тире держит руки на уровне лица, как хирург перед операцией.

Спокоен и невозмутим воздух там, наверху. Его перерезают лишь

легкие нити — лучики солнца, проникающие через витражи. И танце же нити, кажется мне, связывают, переплетают, разделяют друг от друга тех, кто сидит на черноватых скамьях. Внизу, правда, эти нити не видны. Внизу свет от телешпиртов. На свету нити неразличимы. У меня, как говорится, нет юридических оснований, но я не верю этому залу, этому собору, где говорят о том, что надо извлечь из человеческого сердца ненависть. Не верю хотя бы потому, что полтора года назад видел опроверженное тело ребенка на паперти.

29. 12. 1966. Ребенком был немаленьким. Просто пальце-машинка из нитки, самодельно выклеенная и раскрашенная. Белое тело и красивые пятна. Хорошие люди — актеры нью-йоркского мюзикльного театра — положили нитку на па-

перть собора. Положили с одной, нежною наивной целью: пусть приходящие увидят, что делают их братья, сыновья и внуки во Вьетнаме. Они положили нитку на паперть собора святого Патрика, потому что именно из этого собора кардинал Спеллман благословлял убийство во Вьетнаме. Полиция арестовала нитку...

8. 6. 1968. В городе Сан-Луисе живет брат человека, которого арестовали сегодня в лондонском аэропорту, — Джон Лерри Рей. В интервью Рейнтан он сказал: «Я не удивлен, что он был в Лондоне. Я удивлен тем, что его поймали. Если мой брат убил Кинга, он это сделал за большие деньги. Он никогда ничего не делал, если не получал за это деньги. А те, кто заплатил ему, не хотят, конечно, чтобы он сидел в суде и

рассказывал все, что знает... Вот почему я удивлен его арестом». Еще Джон Рей сказал, что до поступления в американскую армию Джаймс Рей не пил, не курил, был хорошим работником. «Но армия изменила все его взгляды на жизнь...»

8. 6. 1968. 4.30. Собор открывается для публики в пять утра. Вдова пришла сюда в это раннее время, чтобы хоть несколько минут побыть наедине с покойным. С того момента, как врач сказал, что он мертв, она ни разу не была с ним наедине. Но и сейчас ей сказали, что ее будут снимать. Ее хотят снять одну у гроба, одну в соборе. Она не хотела, но друзья сказали: это надо, надо.

И включены микрофоны. Тени мечутся под ногами. Кто-то громким шепотом отдает команду, куда сле-

тыть. Зрители все равно поймут, что она не одна.

Я смотрю на ее растерянное лицо, и горло обжигает тоска. Я вижу ее всегда только улыбающейся. Она была мной кандидатом, а жена кандидата тоже должна постоянно улыбаться, особенно прессы...

Он обладал всем, что требовалось от него положение кандидата и президенты. Он хорошо говорил, обязательно улыбался, весело шутил, если нужно — перебежал улицу, чтобы помочь руну старнику, вышедшему приветствовать его. У него было имя старшего брата, неограниченные средства и блестящие советники Джона Кеннеди. Он был отцом десяти детей, и, говорят, хороших отцов. Во всяком случае, успевая уделять внимание всем десяти детям. Они ждали единственного...

И все же многие честные и адекватные люди в Америке задавали себе вопрос: кто он?

Его звали легко и просто — Бобби. Но не только потому, что в Америке. И не просто потому, что молод. Это еще и потому, что «Бобби» было удобно и для друзей и для врагов. И для тех, кто его любил, и для тех, кто его презирал. Бобби — это дружок, но это и презрительно.

А среди тех, кто его презирал, было много и по-настоящему честных американцев. Ему не прощали активную службу в комиссии Джо Маннхарт. Он был в свое время одним из самых реакционных министров юстиции. Противники войны во Вьетнаме никогда не забывали, что Роберт Кеннеди был одним из патронах «зеленых беретов».

О жертвах либо ничего, либо хорошо. Но Роберт Кеннеди был сложным и противоречивым человеком, жившим в обезчеловечивающем обществе, которое повинно в трагедии, разыгравшейся ночью с четвертого на пятый этаж в отеле «Амбассадор».

В. В. 88. 1245. Заключивается месса. Я вижу ребят — сыновей и дочерей Роберта Кеннеди. Трехлетний играет с флажком: он еще совсем ничего не понимает. Я вижу подростка Джона Кеннеди — сына покойного президента, который на своем маленьком авто ходит уже второго близкого ему человека. И подростка Каролину. И мать — Жаклин Кеннеди. Она почти не изменилась с того трагического ноября 1963 года. И я уже на ее лице вдруг застаю очень остро вспомнить тот темный вечер.

А вокруг сидят интеллигентные из справочника «Кто есть кто в Америке». Но я бы не сказал, что сидят хозяева Америки. Сидят, если хотите, исполнительная власть. Я вовсе не имею в виду, что кто-то с Уолл-стрит забыли пригласить. Я имею в виду сами принципы этого общества, стили, нормы и заповеди, которые воспитывают этих людей, именно эти принципы, эта высшая власть циркулирует их, неуловимо подчиняет своим законам, возмощит и, если нужно, уничтожает физически.

Может быть, я несправедлив к этому залу? Ведь там есть искренние люди, и их горе непоколебимо. Да, это так. Может быть, и среди самых расчетливых людей, оведавших дело, есть такие, что забыли на минуту обо всем, поразенные человеческим горем? Да, может быть, на мгновение. Может быть, там есть люди, которые, слушая слова архиепископа о невинности в человеческих сердцах, думали об Америке. Что происходит с ней? Кеннеди. Кинг. Снова Кеннеди. Не много ли? Не скучно ли Америка с ума? Кто следующий?

А сколько за это время было убийств, куда менее, так сказать, шумных? Убийств расистских, коммунистических, убийств бессмысленных — от озлобления и миру, и людям, и обществу. Разве убийство расистами-коммунистами единнадцатилетнего негритянского мальчика Эрика Дина в Бруклине не такое же и даже более трагическое преступление, чем это?

Просто в убийстве Кеннеди сконцентрировалась по многим причинам вся боль, все отчаяние, весь кризис большой страны...

Разве нет людей, рассуждающих так, в этом зале? Наверняка есть. И все же, мне кажется, я не грешу против истины. Там, на улице, потные плачущие люди со своей наивной верой в «доброе сенатора» нудят человечество, а значит, и сильнее этой конитассиссии Америки. Они сильнее системы, в которой живут.

Нью-Йорк, июль.

Стефан ЕЖЕВСКИЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Директор отеля «Стелла» подошел к нему и посмотрел вниз. По ступенькам бежали крупные капли дождя.

— Пан Вальчак, — директор обернулся к начальнику административно-хозяйственного отдела, — на террасе кафе моют столы и стулья. А ведь я уже два недели тому назад говорил вам, что их нужно перенести на склад.

— Сейчас я все устрою, пан директор. Простите, совершенно забыл об этом. — Вальчак направился к двери. Когда директор снова повернул голову от окна, в кабинете уже никого не было. Он устало вздохнул и начал просматривать счета, лежащие на столе.

Но прошло и пятнадцать минут, как зазвонил телефон. В трубку директор услышал отрывистый, прерывающийся голос Вальчака. Тот задышал и буквально давился словами:

— Пан директор! Это страшно... Это ужасно...

— Я не знаю, что делать... Я потрясен...

— Говорите яснее, в чем дело, или не морочьте мне голову!

— На террасе кафе лежит мужчина.

— Ну и что?

— Он мертвый!

Директор положил трубку. Потом вскочил со стула и, как бильярдный шар, покатился к двери. Он отлетел от дверей и снова оказался около стола. Дрожащими руками набрал номер отделения милиции.

Через пятнадцать минут у отеля «Стелла» остановился автомобиль, из которого вышел высокий худой мужчина с палкой в руках. У него были большие торчащие уши, на них, как на подпорки, опирались вышедшие из шляпы. Брови едва доходили до щинелоты. Шагал по лестнице, мужчина поднимал ноги, как анст, бродячий по мокрому лугу.

Через минуту он был уже на террасе, где собралась толпа.

— Кто здесь директор отеля?

Звук могучего баса заставил всех присутствующих обернуться. Из толпы выступил породный мужчина с наполеоновскими волосами.

— Я Славимоский, директор отеля. Чем могу быть вам полезен?

На лице прибывшего появилось нечто, что при большой доле воображения можно было бы назвать улыбкой.

— Если вы не знаете, чем можете быть мне полезны, зачем же вы меня вызвали? Я из милиции. Поручик Любич.

Не успел директор и слова сказать, как поручик снова загремел своим могучим басом:

— Граждане, напрасно вы тут ждете! Прошу вас покинуть террасу.

С легкой неохотой толпа начала медленно расходиться. На террасе остались только Славимоский, Вальчак и поручик.

— Ну, так... — вздохнул Любич, изложилась и мужчина, лежащий на животе, с несчастливо повернутой головой. — Я надеюсь, что никто здесь ничего не трогал?

— Никто не осмелился, пан поручик...

— Вы знаете, кто это?

— Еще нет, но вы сейчас постарайтесь узнать.

Любич встал, вытер рукавом испачканные на мажках брюки, поправил сбившуюся шляпу и посмотрел вверх.

— Достаточно будет, если вы узнаете, кто звонил номер 1102. Пошлите кого-нибудь к портье.

Вальчак, который стоял рядом, астрепнулся.

— Умь бегу!

Директор исхода взглянул на Любича. Вид поручика ему не нравился. Начиная со сланного коротких брюк и кончая порывавшей шляпой. И еще этот голос, звучащий как будто из колоды... Нулевой и хорошо воспитанный человек не должен иметь такого голоса.

— Пан поручик, вы уже все знаете? — сказал директор приподняв брови.

— Ничего я не знаю, пан директор, — пробурчал Любич и, вынул из верхнего кармана пиджака сигарету, закурил, с удовольствием затягиваясь дымом. — Любич, кто увидит тут человека в пиджаке с разбитым черепом, а потом заметит, что на 11-м этаже распахнуто окно, должен прийти к выводу, что покойник относится к числу постояльцев отеля. А поскольку открытое окно второе от угла, то, немного зная ваш отель, легко предположить, что это окно номера 1102.

Славимоский покачал головой.

— Вы считаете, что это самоубийство?

— А мажак, собственно, разница? — Любич поднял коротки пальто, как будто только сейчас он почувствовал, что идет дождь.

Директор ничего не ответил. Ему хотелось вернуться в свой кабинет.

На счастье, в дверях появилось несомненно человеком в майке-фити форма и один из штатских. При их виде Любич окликнул и помахал рукой.

— Быстрее, быстрее, — прогрохотал он своим басом, — этот проклятый дождь все смывает. Снимите со всех сторон. Отпачтати. Крова на анаки... Доктор, я попрошу вас выяснить причину смерти. Я займусь установлением личности.

Он обратился к Славимоскому:

— Пан директор, не могли бы вы пройти со мной?

В холле их уже ждал Вальчак с минигей записи призывов. Он подал ее поручику, уже открытую на нужной странице.

— Его фамилия Гурский, Ли Гурский, он приехал вчера после обеда из Кракова. Я уже был

наверху, в его комнате. — Любич хмуро взглянул на Вальчака.

— Вы понимаете, пан поручик... Там его вещи. Если что-нибудь пропадет, мы отвечаем...

— Двери были закрыты?

— Открыты, пан поручик, именно открыты. Хорошо, что я сразу пошел туда, могло бы пропасть что-нибудь...

— Хорошо, давайте поднимемся туда еще раз вместе.

Директор нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Пан поручик, я вам, наверное, уже не нужен?

— Пока нет. Хотя... Я, возможно, еще зайду к вам.

— Я буду все время в своем кабинете.

В номере 1102 Любич первым делом подошел к открытому окну и начал разглядывать окрестности. Однако он, вероятно, не увидел там ничего достойного внимания, так как через минуту закрыл окно и занялся осмотром комнаты.

Вальчак стоял у дверей и с интересом наблюдал быстрые, привычные движения поручика. Любич откинул одеяло, лежащее на кровати, и коснулся рукой пододеяльника.

— Он не ложился в эту ночь, — пробормотал себе под нос.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦ

Потом открыл шкаф и взял костюм. Осмотрел карманы, выложил на стол бумажники, носовой платок, расческу, незначительную пачку сигарет, записную книжку, связку ключей... Потом раскрыл чемодан. Две рубашки, носки, полотенце, кальсоны, запасные пинжамы, носовые платки...

Любич подошел к умывальнику, взглянул на туалетные приборы, расставленные на стеклянной полке под зеркалом. Потом начал потрошить бумажники, лежащие на столе. На поднимая голову от документов, спросил:

— Где можно найти портфель, который вчера занесли?

— Он в бюро, пан поручик, сегодня там раз заплата... Сейчас я позвоню ему.

Пока Вальчак набирал номер, Любич что-то тщательно выписывал из лежащего перед ним паспорта Гурского. Потом он снова подошел к шкафу, вынул плащ, шляпу и туфли. Все это он старательно сложил в чемодан. Когда Любич потянулся за костюмом, лежащим на кровати, чемодан опрокинулся, и все вещи вывалились на пол.

Поручик выругался и начал собирать их. Теперь он закинул все в чемодан как попало, не заботясь о том, что ботинки могут запачкаться чистые рубашки, а наплотом закрытый тобик с кровом извалит костюм.

Однако когда очередь дошла до брюк от записной книжки, он вдруг, неизвестно для чего, разложил их во всю длину на кровати и внимательно осмотрел.

В этот момент раздался деликатный стук в дверь.

— Войдите, — загремел Любич, не прерывая работы.

В комнату проскользнул маленький засушенный человек неопределенного возраста.

— Вы портье? — спросил Любич, закрыв за собой дверь.

— Да, это я.

— Садитесь, пожалуйста. Вы знаете, в чем дело?

— Дагадываюсь, пан поручик.

Любич почесал за ухом, достал из кармана сигарету и, закури, начал выдвигать по комнате, высоко поднимая ноги, как бы преодолевая невидимые препятствия.

— Это вы принимали прибывшего вчера человека по фамилии Ян Гурский, который занял номер 1102?

— Да.

— Когда это было?

— Приблизно двадцать минут или прощел экспресс из Кракова. Что-то около шести тридцати вечера. В это время приехали еще несколько человек из Кракова.

— Гурский выходил из комнаты?

— Да, пан поручик. В восемь часов он пошел умирать.

— А когда вернулся?

— Мне трудно сказать точно, но, кажется, уже было за полночь.

— Вы уверены, что это был именно он?

сказал он Вальчику, — претензии составили в кабинете директора.

Внизу поручика уже ждала оперативная группа.

— Все в порядке? — спросил Любич.

— Так точно, пан поручик, — доложил один из офицеров.

— Слушай, Филипп, — сказал мужчина в плаще, наброшенном на белый литец, — тело и отправил в отдел судебной экспертизы. Мне кажется, так на глаз, что смерть наступила около часу ночи. У него поломаны ребра, ключица, черепная коробка треснула в двух местах. Результаты вскрытия я передал вместе с результатами всех анализов. Самое позднее завтра. Ну, привет, а слышу.

— Привет! — Любич приложил два пальца к носу шляпы.

Сидя в машине, поручик обдумывал свое донесение. Кроме этого, — думал он, — нужно сообщить семье, установить причины этого отчаянного прыжка и представить прокурору дело и закрытие.

В комендатура Любич пробыл недолго. После набросал на вырванном из тетради листе донесение и дал его переписать машинистке. Потом распорядился, чтобы дежурный офицер проследил за отправкой телефонограммы с

местом были предметом являемости коллег. то теперь, когда он начал дело Яна Гурского, порывавшая шляпа с пропавшей лентой дала повод называть его «шляпой».

Служебные разочарования компенсировало ему кино. Углубившись в кресле, изолированный от мира полумрак зала, он напряженно следил за действием, развешивавшимися на немалых квадратных метрах экранного полотна.

Наибольшее удовлетворение приносили Любичу минуты, когда, уже на середине картины, ему удавалось разгадать загадку, и тогда он первоначально в преступника, обдумывая более сложный метод сокрытия следов.

Но, несмотря на это, Любич не забывал о своих служебных обязанностях. Поэтому вечером, выйдя из кино, он пошел в комендатуру, чтобы проверить, не пришел ли из Лодзи ответ на телефонограмму о Яне Гурском.

Телефонограмму он изложил на своем столе. В ней не было ничего интересного. Гурский снимал комнату у мастера, работающего на одной из ткацких фабрик Лодзи. Однако хозяин квартиры не мог дать никакой информации о своем жильце, так как Гурский снял комнату всего два месяца назад и появлялся дома только по воскресеньям.

ЕК

А

ПОВЕСТИ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

Засушенный человек широко улыбнулся.

— Пан поручик, если кто-нибудь работает в отделе столько лет, сколько я, то помнит каждого постояльца.

Любич приостановился на середине комнаты и бесцеремонно стрихнул пепел сигареты на ковер.

— Вы уже видели труп на террасе?

— Само собой разумеется, пан поручик.

Я видел его еще раньше вас.

— Вы узнали Гурского?

Портье старательно пригладил редкие волосы.

— Да, это он, хотя... Лицо совершенно изуродовано, трудно сказать что-либо с уверенностью.

Любич покачал головой.

— Ну, пока все. Спасибо.

Портье, который уже поворачивался к ручке двери, обернулся.

— Пан поручик...

— Слушаю.

— Сейчас я вспоминаю, когда Гурский вернулся в свой номер. Была как раз полночь. Сразу после него из ресторана вышел другой приезжий, пьяный в стельку. Он орал во весь голос «Чао-чо, бамбино!». Тогда я заметил ему, что уже двенадцать ночи и что он находится в отеле. А пьяный подсунил мне под нос свои часы в доказательство того, что еще только десять. Его часы, конечно, стояли, но я не хотел с ним спорить и отправил его в лифт.

За портью закрылась дверь. Любич погасил в пепельнице окурок.

— Ну, что же, нам уже нечего тут делать, —

добавочной информацией о самоубийце в Лодзи, где Гурский был временно прописан.

— Каков-нибудь интересный случай? — спросил дежурный.

— Умное. Парень высидел из окна, потому что его обманула жена.

Поручик не любил разговаривать о делах, которыми занимался, а кроме того, еще и спешил. С большим трудом он достал билет на детективный фильм, несколько дней тому назад вышедший на экраны, и не хотел опоздать и на работу.

Помню дешёвых сигарет, Любич любил детективные фильмы. Еще подростком тратил все свои карманные деньги на кино, а иногда ходил по два-три раза на один фильм. Может быть, именно это толкнуло его пойти в офицерскую школу милиции.

Часто говоря, уже в начале работы Любич начал чувствовать что-то вроде разочарования. Ему не приходилось ни расследовать похищения детей, которые украл сын миллионера, ни раскрывать деятельность шайки торговцев недвижимостью; вместо этого он должен был долгие часы тратить на допрос заведующих складами, продающих участников драк. Вместо подлинных с бандой, уносящей на яхте миллионы бриллиантов известной кинозвезды, нужно было проводить ревизии у торговцев с Рукинского базара. Вместо ночных рейдов по тайным игорным домам — ловить организаторов прозаической игры в карты.

Растущее разочарование, в котором сам себе не признавался, вело к тому, что он перестал следить за собой. Если раньше его можно было назвать идеальным выглаженным

Когда стирал комнату, стирала записки Гурского, оказалось, что там нет ни одного предмета, который ему принадлежал. Любич решил комендатура предполагала, что записки мог выкинуть его жена, и считал, что на мешало бы провести расследование в Кракове, где Гурский был известен как журналист.

— Мудрят, — буркнул себе под нос Любич. Он был зол сам на себя за то, что сразу не послал телефонограмму в Краков. Поручик набрал номер дежурного офицера. — Привет, говорит Любич. Пошлите, пожалуйста, в Краков телефонограмму того же содержания, что и в Лодзь.

— Дело осложнилось?

— Во всяком случае, не настолько, чтобы было о чем говорить, — ответил Любич.

На следующий день утром, когда Любич пришел в секретариат, он увидел офицера, который уже закончил дежурство и собирался домой. В руке тот держал листок телефонограммы, а по лицу его блуждала заранее-удовлетворенная улыбка.

— Я специально ждал, чтобы вручить вам лично это известие. Теперь будет о чем поговорить, не правда ли, коллега?

Любич без энтузиазма взял листок бумаги и медленно направился к двери. Внезапно он задержался, и на его лице появилось выражение нескрываемого удовольствия. Краковская комендатура сообщила интересные вещи.

На улице Мармеловой, дом 5, квартира 16, действительно прописан Ян Гурский вместе с женой и десятилетним сыном. По профессии инженер, работает в горно-металлургической закуске, но — что самое интересное — он не только совершенно здоров. При установлении этих

фактов — Любич узнал об этом поздне — на обшлось без неприятного инцидента. Работники милиции застав дома только шкуру Гурского. Когда он спросил, где находится ее муж, она ответила, что он ушел час тому назад, потому что у него сейчас экстренная ситуация в академии. Считая, что Гурский над ним смеется, оскорбленный милиционер поспешил заявить, что останки ее мужа были найдены в Варшаве.

Ничего странного, что при этом известии Гурский потерял сознание. Вызвали врача, а изощренный соседним муж появился через несколько минут. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что год тому назад, во время командировки, у Гурского украли в поезде бумаги с деньгами и документами. Возникло подозрение, что вором был тот самозванец, которого нашли на террасе кафе в Варшаве.

Любич прочитал телефонограмму два раза. Теперь он был уверен, что попал на след действительно захватывающей истории. Именно такого дела он ждал долгие годы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда слышала передала волна горничного возбуждения, поручик Любич охватил сомнение. «Самодурство или убийство?» — думал он, рисуя карандашом зигзаги на лежащей перед ним чистой бумаге.

Ли Гурский, а точнее, тот, кто пользовался документами Лиа Гурского, живущего сейчас спонсором в Кракове, выяснил или же был выброшен из окна с 11-го этажа. Кто этот таинственный самоубийца? Почему он лишил себя жизни? А если это убийство, то кто убийца?

«Насколько легче решать подобные загадки, сидя в кинотеатре или в мягком кресле, чем за дубовым столом, в неуютном кабинете комендатуры», — думал он, закуривая сигарету, которую по счету сигарету.

В руки ему попали действительно интересные дела, но собранный пока материал не позволял сделать каких-либо выводов. Поручик не рассчитывал на то, чтобы результаты экспертизы, которых он еще не получил из лаборатории, могли в какой-либо степени помочь при разрешении загадки.

Лаборатория находилась на том же этаже, в противоположном крыле здания.

— Дайте немедленно результаты всех экспертиз того типа, который выяснил из окна в «Столице», — обратился он к небритому человеку в халате, настоятельно заглаженному кинематографу, что установили его подлинный цвет было бы трудно даже известнейшим мастерам палитры.

— Еще не написаны, — ответил тот. — Но я могу вам так сказать. В мелодию у него было столько ленивости, что хватало бы еще из недели сна, если бы ему не пришлось в голову слезать через окно. Проспиртован он был не меньше. Выпил по крайней мере литр... Парень что знает!

— Можно ли насыпать ленивости в спиртное так, чтобы вкус его не изменился? — прервал Любич.

— После такой порции спиртного человеку можно налить даже касторки; он и не почувствует.

— А что вам еще удалось установить?

— Только то, что он выяснил совершенно правильно, головой винт.

— В котором часу он выпил спиртное?

— Примерно около полуночи, — ответил лаборант, старательно вытирая руки о халат. — А результаты вскрытия показали, что смерть наступила в час ночи. Следовательно бы полагать, что покойник, прыгнув в окно, спал, как сусалки.

Любич посмотрел на лаборанта взглядом змеи, которой наступили на хвост.

— Можно ли поверить, коллега, что спавший человек, если он только не лунатик, может выскочить в окно?

— Исключено! Разве что ему кто-нибудь поможет, и поэтому я считаю, пан поручик, что вам попалось исключительно интересное дело, — сказала лаборант и демонстративно начала вынимать из шкафа бутылки, давая понять, что считает ауденцию законченной.

Выйдя из лаборатории, поручик сразу же пошел в «Столицу». В это время около портье было относительно спокойно. Двое ожидающих при виде незнакомой фигуры Любича с интересом поднимали головы, но через минуту широко отырали рты от удивления, увидев, что портье любезно согнулся в поклоне перед таким малоприятным гостем.

Любич серьезно ответил на поклон и поднялся по лестнице. Со второго этажа он позвонил директору и попросил ключи от любого свободного номера. Минуту спустя в номере 28 на втором этаже директор представил Любичу список приезжих, зарегистрированных в течение последних двух дней перед убийством. Поручик внимательно просмотрел список, все время что-то записывая в толстой тетради. Эта сцена происходила в простом молчаливом, и ни один из двоих не проявлял никакого интереса к разговору. Наконец Любич отложил список и потребовал вызвать портье, дежуривших в тот день.

Сравнительно быстро Любичу удалось установить, что в день происшествия двадцать три человека получили отдельные номера, причем только пятеро из них выходили из отеля на следующее утро.

Трое из этой категории, которой поручик занялся прежде всего, жили в номерах из 11-го этажа. Роман Стоберский, снабженец одного из крупных предприятий в Цяцине, Хазимир Вроня — публицист из Познани, третий — Тадеуш Вольский — был служащим одного из торговых объединений в Кракове.

Меньше других понравился поручику этот познанинский публицист. Портье никак не мог вспомнить, когда он вернулся в свой номер, а второй, дежуривший утром, сказал, что публицист вышел из отеля около шести часов утра. Несомненно важным подробностям собрал Любич в Вольском и Стоберском. Положи, что они вообще вечером не покидали своих номеров, в чем, однако, портье не мог присягнуть, а, из-за потом выяснилось, Вольский был именно тем человеком, который пьяным в стелу вернулся с песней после полуночи.

Поручик, выслушав все эти объяснения, имел такое непроницаемое выражение лица, что оба портье и их шеф готовы были присягнуть, что Любич уже распутал эту порочащую репутацию отеля загадку. Телефонограмма из Познани всялила немного надежды в сердце поручика. Ни одного публициста по фамилии Вроня в городе не было, зато такую фамилию носил мошенник-рецидивист, которого не заставил дома, а его семья не знала, где он сейчас находится. Поручик потребовал подробного описания Вроня. Но, к сожалению, кроме весьма общих сведений, что тот — человек среднего роста и средней упитанности, познанинский милиция не располагала никакими другими подробностями.

Проходили дни, а следствие не продвигалось ни на шаг. С беспокойством Любич ждал со дня на день вызова шефа, имевшего неприятный обычай начинать любой разговор со слов: «Ну и что там у вас? Снова ничего не известно, не так ли?» Казалось, неспособность собственных сотрудников доставляла ему такое удовольствие и ничего другого он от них не ожидал.

Однако дело Вроня выяснилось гораздо быстрее, чем этого ожидал Любич. Через два дня, в восемь часов утра, два милиционера вошли в кабинет Любича на короткое время.

— Милиционерский лист в Гендзова задержан разыскиваемого Вроня, — доставил один из милиционеров.

— Пан полковник, — заскрипел пропитым голосом Вроня, — я не знаю, в чем дело. Я только что после аминистии...

Уже в этот момент поручик понял, что его постигла новая неудача. Однако, хватаясь за последнюю спасительную соломинку, спросил спонсора:

— У вас документы при себе?

Один из милиционеров, предупредив ответ по-разрешаемому, с триумфом положил перед Любичем паспорт.

— Пожалуйста, это точно он. Все совпадает: номер, фотография, приметы...

Любич закурил сигарету и обратился к Вроня:

— Вы жили в отеле «Столица» 18—19 ноября?

— Да, пан полковник. Там что-нибудь произошло?

— Вы жили на 11-м этаже, не так ли? В какое время вы вернулись в свой номер?

— Я поужинал внизу с одной девушкой, которая тоже жила в этом отеле, а после десяти я ушел спать.

— У себя в номере или у нас?

— У себя... Я холостик, то есть разведен, пан полковник понимает... Жена ее Тереза, а фамилия моя была как-то не к чести.

— А вы не слышали, кто-нибудь был в соседнем номере?

— Конечно. Около полуночи я слышал голоса двух мужчин, из которых один говорил очень громко, а другой его успокаивал.

Любич уже знал, что Вроня занимал номер в непосредственном соседстве с так называемым Гурским и что, без всякого сомнения, номер Гурского был единственным. Два голоса... Один из них — этот пронзительный голос пьяного — должен был потом замолчать навсегда.

— Но ведь Гурский, — Любич уже привык так называть таинственного самоубийцу, — был определенно трезв. Это подтвердил и портье, который дежурил той ночью. А пьяный был Тадеуш Вольский, тот служащий из Кракова. Тогда...

Поручик знал, что он уже на верном пути. В отеле «Столица» произошло убийство, с которым, однако, этот маленький мошенник Вроня, «публицист» из Познани, не имел ничего общего.

— Ну, с этим именем — пробился он, вручая Вроня паспорт. — Спасибо вам.

Милиционеры из Гендзова были явно удивлены.

— Я могу идти, пан полковник? — спросил Вроня Любича, которого так недавно называл полковником.

— Да, санданя. — Любич кивнул головой. — Пропуск вам поднят внизу.

Поручик остался в кабинете один. Версия «публициста» из Познани оказалась действительно несостоятельной. Но у него было предчувствие, что посланная в Краков телефонограмма с просьбой собрать данные о Тадеуше Вольском может быть переломным моментом в этом деле.

Вечером из Кракова пришли сведения, что Тадеуш Вольский, сорочка двух лет, служащий одного из торговых объединений, вышел на неделю назад по частному делу в Варшаву и с тех пор не давал о себе знать. Краков запрашивал, знает ли в Варшаве что-либо о Вольском, и просил немедленно ответить.

Но вместо того чтобы дать телефонограмму, поручик отправился на вокзал и сел в ночной поезд из Кракова.

В доме на улице Дитли, на четвертом этаже, Любич остановился перед дверями, на табличке которых было написано «Вольские», старательно вытер ноги и позвонил.

За дверями раздались приглушенный звук шагов, и кто-то посмотрел в глазок. Голова поручика, прикрытая старой шляпой, не могла произвести хорошего впечатления даже на самого добродушного наблюдателя, и ничего уди-

вительного, что из-за дверей раздался не очень приятный голос:

— Кто там?

— Откройте, пожалуйста, я к Тадеушу Вольскому.

— Мужа нет дома.

— Я знаю об этом, я из милиции. — Любич вопреки первоначальным намерениям должен был назваться еще за дверями. Эти слова вызвали соответствующую реакцию, хотя результат был непредвиденным, потому что, как по знаменному волшебной палочке, открылись все двери соседних квартир. Предстала перед Любичем и пани Вольская, решившаяся впустить непрошеного гостя. С неожиданным проворством поручик втиснулся в темную прихожую и тщательно закрыл за собой дверь. Он быстро вытаскивал из кармана служебное удостоверение и пошел им перед носом хозяйки, хотя понимал всю бесполезность этого шага, поскольку в прихожей была темная огнистая.

Она протиснула дверь и из порога бросила взгляд на удостоверение. Видимо, сомнения тут не оставили ее, потому что широким жестом пригласила Любича в большую комнату, заставлявшую различать глянцевую мебелью, и указала место на обитом грязным чехлом стуле, с которого быстро убрала цицпу и тапину.

Поручик усаживаясь, положил на колени свою шляпу и с удовольствием вытянул ноги, измученные за время ночного путешествия.

— Пани Янина Вольская, не так ли?

— Да, я Вольская. — Хозяйка села с соседнего стула массивную папильницу и села напротив поручика. — Что случилось с моим мужем? За что он сидит? Он всегда был такой осторожный... Должна ли я ждать адвоката?

— Нет. — Любич прервал этот поток слов. — Ваш муж не арестован. Меня интересуют... обстоятельства его исчезновения.

— Что? — вскричала пани Вольская. — Мой муж пропал?

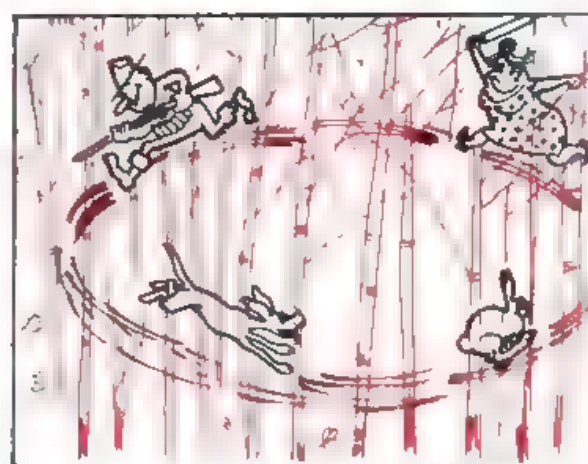
— Но ведь вы сами освещали об этом миль...

— Он никогда не выезжал на такой долгий срок. Я думала, что-нибудь случилось.

— Может быть, вы начнем по порядку? Итак, вы говорите, что муж никогда не выезжал из дома так надолго. Могу ли я узнать, зачем он поехал в Варшаву?

— Откуда я знаю? — взорвалась Вольская.

— Гм... — хмыкнул Любич и, видя, что система вопросов, которую он выбрал, не ведет его к цели, начал с другой стороны: — Вы должны успокоиться, я пришел сюда для того, чтобы вам помочь. Заверю вас, что ваш муж не арестован и не совершил ничего предосудительного. Нам нужен свидетель с одним делом, и только вы можете нам помочь. Прошу взять себя в руки и спокойно ответить на мои вопросы. Это очень важно.

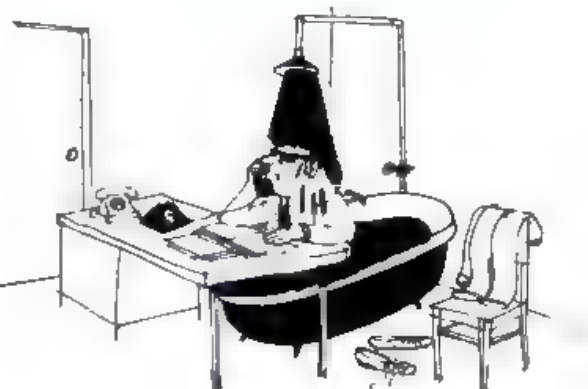


Замкнутый круг.

Рисунок А. Шварца.

В жаркие дни.

Рисунок В. Воеводина.



Последние слова, как видно, произвели должное впечатление. Она посмотрела на поручика если не с симпатией, то по крайней мере с интересом.

— Пожалуйста, спрашивайте.

— Итак, я повторяю: сказал ли вам муж, зачем он едет в Варшаву?

— Он говорил мне, что едет к товарнице, с которым познакомился во время отпуска в Сопоте. Тот приятель предлагал ему какую-то выгодную сделку и должность. Я сразу поняла, что здесь что-то не так. За этим, должно быть, скрывается какой-то женщина. И зачем я пустила его одного в этот отпуск!

Вольская собралась заплакать, но поручик тут же вмешался:

— Уверю вас, что в этом деле не замешана женщина... Расскажите мне побольше об этом приятеле мужа, с которым он познакомился в Сопоте.

— Моя мама была больна, — ни с того ни с сего начала Вольская, — и я аперане за тринадцать лет нашей совместной жизни пустила его отдыхать одного. Бабником он не был, но я следила за ним, потому что сейчас современные женщины только и поднарауливают чужих мужей. Даже в газетах пишут, что каждая вторая — одиночка. Так что же остается делать этим одиночкам? Отбивают мужей у других.

В нашем доме уже были две такие истории... — Итак, ваш муж во время отпуска с кем-то подружился... — поставил поручик, напуганный перспективой рассказа о неверных мужьях, живущих на улице Детля.

— Да, он там познакомился с каким-то приезжим, рассказывал, что это очень солидный и денежный человек. Но кто их там знает, может, вместе делали разные глупости. Потому что самое страшное — это приятели...

— Солидный мужчина предложил вашему мужу какую-то сделку или должность? — Любич снова прервал рассуждения о дурном влиянии приятелей на благородных мужей.

— Да, — Вольская успокоилась, — кажется, он даже угостил его в Гранд-отеле настоящим французским коньяком. И я не удивляюсь... Тадеуш очень способный, но только разве тут, в Кракове, сумеют кого-нибудь оценить? Вот уже шесть лет он работает заместителем начальника отдела, хотя ума у него больше, чем у самого директора. В конце концов и я ему помогала, наставляла его дома...

— А какого рода должна была быть эта должность?

— Этот человек был связан с каким-то торговым представителем за границей. Ему нужен был способный помощник. Он предложил моему Тадеушу пост заместителя и зарплату в два раза больше, чем он получал здесь в объединении. Сначала я не поверила... Мало ли что люди обещают друг другу за рюмкой... Но когда пришло одно, второе письмо...

— У вас сохранились эти письма? — спросил Любич.

— Нет, когда пришло последнее, в котором этот человек просил мужа приехать в Варшаву, выслал на дорожные расходы тысячу злотых, то одновременно он потребовал от Тадеуша привезти всю их переписку. Я даже удивилась, но, как видно, у них там такой обычай.

— Ага... — По интонации голоса Любича ничто бы не догадался, насколько заинтересовала его эта информация. — И так, ваш муж взял все письма... Но вы их, наверно, читали?

— Конечно, я всегда отрываю и читаю все его письма, и ведь все-таки жена. Тот человек писал очень коротко, что он имеет связь с английским представителем фармацевтической фирмы и муж должен стать его заместителем. Он согласовал это в Лондоне, и они с радостью приняли кандидатуру Тадеуша...

— Ваш муж владел какими-нибудь иностранными языками?

— Нет, то есть не в совершенстве... Во время оккупации он научился немного немецкому.

— У вас сохранилась квитанция на перевод, который прислал тот человек?

— Да, сейчас я пошлю. — Вольская резко подбежала к маленькому столу и принесла телеграфный бланк.

Перевод был отправлен из Лодзи; отправителем был Ян Гурский, живущий на Петровской улице. И так, круг замыкался. Теперь нужно было как-нибудь осторожно уговорить Вольскую поехать в Варшаву.

— Я хотел бы, чтобы вы поехали вместе со мной в Варшаву... О нет, ничего особенного, — поспешил он объяснить, видя выражение ее лица. — Вы должны помочь нам в поисках мужа, потому что, как я уже сказал, он пропал. Ваш муж остановился в отеле «Столиця», где был приготовлен для него номер, но, к сожалению, пан Вольский, гм... выехал из отеля несколько дней тому назад, и его невозможно найти.

— Значит, я должна его найти, если уж милиция не может, — с издевкой произнесла Вольская.

— Насколько я успел заметить, — продолжал невозмутимо поручик, — уважаемая панн отличалась выдающимися способностями. Зная при этом великолепно привычки мужа, вы можете оказать нам большую помощь.

— Если так, я поеду с вами, — любезно ответила польщенная Вольская, — видно, что вы не обычный милиционер и моментально можете разобраться в человеке.

Желая избежать излишнего потока слов, тем более что ему еще предстояло путешествие с этой красноречивой женщиной, поручик быстро встал и деловым тоном заявил:

— Предполагаю, что в три часа вы будете готовы, я приеду за вами с билетами. Мы поедем поездом номер четыре. Однако я бы очень

вам просил сохранить все, что я вам сказал, в тайне.

— Ну, естественно! — воскликнула Вольская. — Если бы люди узнали, что я еду с милицией искать мужа в Варшаву, не было бы конца сплетням. И так уже соседи узнали, кто ко мне пришел. Напрасно вы представились за дверями. Я скажу им, что это еще по делу Зоси, той домработницы, которая нас обокрала в прошлом году. У меня пропала тогда черно-бурый лиса...

Любич, испугавшись, что ему придется еще выслушивать рассказ о нечистой домработнице, как можно быстрее отступил в прихожую и отпер дверь в комнату.

Путешествие поручика вместе с Вольской в Варшаву не было богато происшествиями. Любич переживал волнующие моменты, выслушивая обширный реферат на тему об обычаях старого города Кракова. Хуже было то, что Вольская постоянно забывала о сохранении инкогнито своего спутника, благодаря чему не только купе, в котором они ехали, но и два соседних были подробно информированы о характере работы Любича, что возбуждало поистине огромный интерес. Когда наконец после этого путешествия, которое было одним из труднейших случаев в карьере поручика Любича, он очутился вместе с Вольской на Варшавском вокзале, то решил действовать быстро и энергично. Ожидающему его шоферу он приказал ехать прямо в морг.

Вольская, конечно, даже и не предполагала, что ее роль в Варшаве закончится так быстро. Она уже воображала, как благодаря своим способностям и интелленту затннет за пояс самых способных следователей уголовного розыска. И, вероятно, поэтому она ничуть не волновалась, когда шла вместе с поручиком нескончаемо длинными коридорами.

Перед дверями морга поручик охватила тревога. Он предвидел наихудшее: плач, судороги, потерю сознания. Однако выбора не было, и он решил взять внезапностью.

— Прошу вас, не пугайтесь. За время нашего короткого знакомства я мог убедиться, что вы необычайная женщина. Сейчас мы войдем в помещения... гм... не слишком приятные... Я должен вам, однако, показать того-то, того-то, возможно, знаете, гм... только этот кто-то мертвый.

И, не ожидая реакции удивленной Вольской, он вел ее в морг прямо к ванне с формалином.

Она наклонилась над ванной, и взгляд ее скользнул на левое бедро, на родинку в форме мыши.

— Тадеуш! — воскликнула она и упала на пол.

(Продолжение следует)

Перевел с польского Г. Мяснишкин и И. Прокофьева.

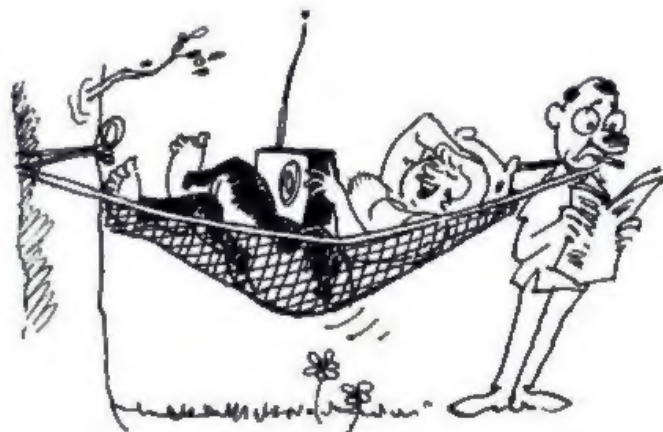
— Сейчас я покажу тебе, что такое прыжки в воду с вышки.

Рисунок В. Воеводина.



— Тебе не мешает радио!

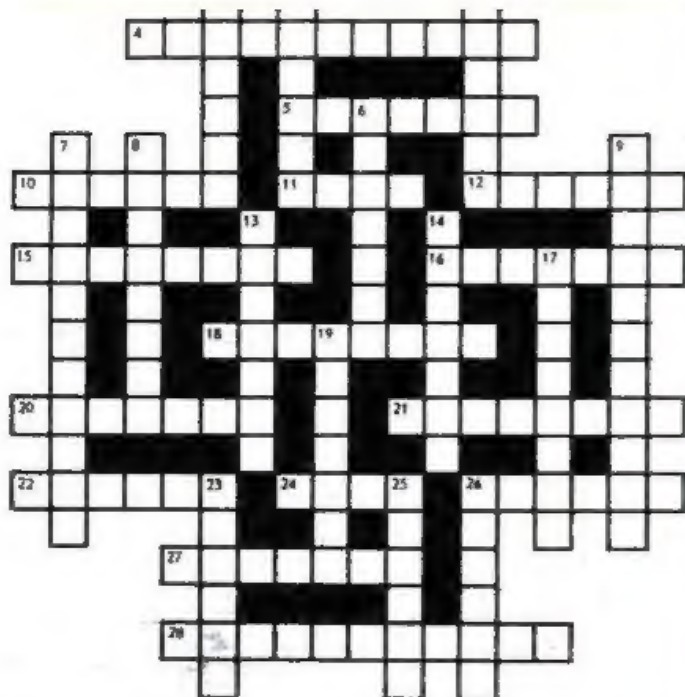
Рисунок Б. Боссарт.



— Как только тебя унесли с поля, судья сразу же сделал замечание грубияну.

Рисунок Е. Шабельника.





КРОССВОРД

По горизонтали:

4. Порт на Тихом океане. 5. Часть весла. 10. Музыкальный знак. 11. Персонаж пьесы М. Горького «На дне». 12. Цветок. 15. Французский композитор, автор гимна «Нтернационал». 16. Птица отряда жуликов. 18. Нидерландский поэт эпохи Возрождения. 20. Малая планета. 21. Внутреннее пространство здания. 22. Шерстяная ткань с ворсом. 24. Сельскохозяйственное орудие. 26. Занятие в зимнем учебном заведении. 27. Землеройная машина. 28. Валерия, народная артистка СССР.

По вертикали:

1. Правость. 2. Зимнее поселение у некоторых народов. 3. Архитектурное оформление дверного проема. 6. Растение семейства аяков. 7. Теплообменный аппарат. 8. Спортивная игра. 9. Роман Л. Н. Толстого. 13. Река в Африке. 14. Столица союзной республики. 17. Слесарный инструмент. 18. Сорт сливы. 23. Опера Ж. Визе. 25. Приток Припяти. 26. Наука, изучающая мышечные.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 24

По горизонтали:

7. Варлаам. 8. «Проселок». 11. Дрина. 12. Огара. 13. Вега. 15. «Спор». 16. Ложбина. 17. Андorra. 18. «Спартак». 19. «Школа». 20. Витебск. 23. Семафор. 25. Русакон. 26. Двез. 27. Тюль. 28. Пешка. 29. Карта. 31. Десятина. 32. Электрон.

По вертикали:

1. Эланд. 2. Сосна. 3. Вассейн. 4. Горилла. 5. «Арзамас». 6. Гондола. 8. Таджикистан. 10. Поджигатель. 14. Апофеоз. 15. Сержант. 21. Нимфея. 22. Крушина. 23. Сивераль. 24. «Обломов». 26. Паток. 30. Ашпер.

На первой странице обложки: Н. Зиньков. Подпись: «Чудо-юдо, рыба-юно» (см. в номере очерк Н. Родичева «Живет в деревне человек»).

На последней странице обложки: Рыбак Николай Замесин уловом доволен.

Фото В. Кузьмина.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ.

Редакционная коллегия: Д. Н. БАЛТЕРМАНЦ, И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Б. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (ответственный секретарь), И. В. ПАСТУХОВ, И. Ф. СТАДНИК (заместитель главного редактора), Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Рукописи не возвращаются.

Оформление А. КОВАЛЕВА.

Телефоны отделов редакции: Секретариата — Д 3-38-61; Отдел: Репортажи и новостей — Д 3-37-61; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 0-46-98; Литературы — Д 3-31-10; Очерков — Д 0-15-33; Видеобиографии — Д 3-38-28; Научно и технич. — Д 0-14-70; Юмора — Д 3-32-13; Спорт — Д 3-32-67; Фото — Д 3-39-04; Оформление — Д 3-38-36; Писем — Д 3-38-28; Литературных приложений — Д 3-30-30.

А 00420. Сдано в набор 27/V-68 г. Подписано и печ. 11/VI-68 г. Формат бумаги 70x100%. Усл. печ. д. 7,0. Уч.-изд. д. 11,55. Тираж 2 108 200 экз. Над. № 1180. Заказ № 1483.

Ордена Ленина типография газет «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



С К А К У

К

этому событию готовится задолго, в нем начинают поговаривать уже с осени, когда возвращаются с дорожек ипподрома домой уставшие скакунки.

— Что-то покажет весна? — говорят друг другу конники.

Непрерывны их заботы. В дни, когда шумят студенческие металлы, думают люди, еще не пережившие как следует волнения минувшего сезона, о новой страстной поро. Дремлют в своих просторных денниках кони, греются им, завернув, старты и короткие вылазки фланго, слышатся горячие дыхания огненноглазых соседей, который обязательно хочет тебя обогнать. Конки вздрагивают тонкой, в сети прожиганной кожей, всхрипывают, и голенастый молодец, у которого еще все впереди, не может понять, отчего это не спится старшим братьям и сестрам, когда зима. Не могут они понять, голенастые, отчего все чаще заходят к ним по одному, по два люди и почему так подолгу смотрят, осторожно поглаживают стройные ноги и плечи, не сердятся, если, играя, возьмешь ногой-нибудь теплыми и мягкими губами за руку, говорят незлобно: «Валуй, дурачок».

Гулко вздыхает в деннике гнидой красавец Аннин, чудо-лошадь, сумевшая за недолгий скаковой век трижды завоевать почетнейший Кубок Европы. Конечно, он помнит своего наездника-друга Николая Насибова, человека, с которым они вместе, в одном страстном порыве, разрывая тугий ветер, бьющий навстречу, добывали славные победы. Аннину уж больше не сканать. Хватит. Теперь на прославленном конном заводе «Восход» Краснодарского степного края будут ждать от чудо-коня потомство. И, быть может, через год-другой тот же Николай Насибов, жоней международной категории, ставший теперь тренером, примет юных большеглазых скакунов, оглядев ревниво, скажет: «Плохожи вроде на отца!»

Каждый год весной на ипподромах страны даются первые старты традиционного сезона скачек. Поештав на дорожку налутстваемые слова, отправляют труженики конных заводов своих красавцев в путь. Каждый новый скаковой сезон — испытание. Только в ипподромных острейших соревнованиях можно получить ответ, верен ли опыт селекционера, верен ли глаз тренера, растет ли класс чистокровных коней.

Это называется — выводка. Придирчивый конник оценивает в баллах красоту коня.





Н Ы

Центр событий — Московский ипподром. Сюда прибывают лучшие скакуны.

Недавно в Москве был открыт 35-й сезон скачек. Конные заводы России и Украины прислали своих питомцев. «Восход», Бесслабский, Лабинский, Кабардинский, Днепропетровский, Онуфриевский, Стрелецкий, Дернульский... Многого говорит сердце конника каждое из этих названий! Было интересно наблюдать за тем, как, вновь встретившись, затевают бесконечные разговоры люди, посвятившие жизнь отечественному коневодству, поздравляют друг друга: «Ну, что ж — начинается!» Прикидываются порой скромниками: «Где уж нам, вот у тебя!» А сами тем временем с тревогой и надеждой поглядывают, как там, в пaddockе, жонки в разноцветных камзолах садятся в седла.

И так все на ипподроме элегантно и красочно, так непередаваемо красиво и увлекательно, что хочется, чтобы как можно дольше длился этот солнечный день, полный романтики стремительной, захватывающей борьбы.

Словом — скачки!

М. АЛЕКСАНДРОВ

Фото А. БОЧНИНА.



Сейчас они сидят в седлах: Сандро Алнев и Михаил Юсепно.



Старший зоотехник В. И. Трифонов — один из старейших коневодов.



218

Цена номера 30 коп.
Подписчик 70667

